Л. Н. Толстой

КАЗАКИ

Повести и рассказы



Л. Н. Толстой

КАЗАКИ
Повести и рассказы



Москва
«Художественная литература»
1981

Р1
Т 53

Классики и современники

*Русская
классическая
литература*



Текст печатается по изданию:
Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в двенадцати томах, тт. 2, 3. М., «Художественная литература», 1973.

Вступительная статья
Л. ОПУЛЬСКОЙ

Художник
Е. ЛАНСЕРЕ

Т $\frac{70301-037}{028(01)-81}$ 13-81 4702010100

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ МОЛОДОГО Л. ТОЛСТОГО

1

В апреле 1851 года, 22-летним молодым человеком, не кончившим университетского курса, разочаровавшимся в попытках улучшить жизнь своих яснополянских крестьян, Толстой уехал со старшим братом на Кавказ (Н. Н. Толстой служил там артиллерийским офицером).

Как и герой «Казаков» Оленин, Толстой мечтал начать новую, осмысленную и потому счастливую жизнь. Он еще не стал писателем, хотя литературная работа уже началась — в форме писанья дневника, разных философских и иных рассуждений. Начатая весной 1851 года «История вчерашнего дня» в дороге была продолжена наброском «Еще день (На Волге)». Среди дорожных вещей лежала рукопись начатого романа о четырех эпохах жизни.

На Кавказе Толстой своими глазами увидел войну и людей на войне. Здесь же он узнал, как может устроиться крестьянская жизнь без крепостной зависимости от помещика. После Кавказа и героической обороны Севастополя, в мае 1857 года, находясь в Швейцарии и думая о судьбе своей родины, Толстой записал в дневнике: «Будущность России — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».

По левому берегу Терека, на узкой полосе лесистой плодородной земли, жили во времена Толстого гребенские казаки — «воинственное, красивое и богатое... русское население». Их предки пришли на Северный Кавказ с Дона в конце XVI века, а при Петре I, когда по Тереку создавалась оборонительная линия от нападений соседей-горцев, были переселены на другую сторону реки. Здесь стояли их станицы, кордоны и крепости. В середине XIX века гребенских казаков было немногим более десяти тысяч. В одной из глав своей повести Толстой рассказывает историю этого «маленького народца», ссылаясь на устное предание, которое каким-то причудливым образом связало переселение казаков с Гребня с именем Ивана Грозного.

Это предание Толстой слышал, когда сам жил в казачьей станице и дружил со старым охотником Епифаном Сехиным, изображенным в повести под именем дяди Ерошки.

На Кавказе Толстой был потрясен красотой природы, необычностью людей, их образом жизни, бытом, привычками, песнями. С волнением слушал и записывал он казачьи и чеченские песни, смотрел на праздничные хороводы. Это было не похоже на виденное в крепостной русской деревне; увлекало и вдохновляло. Теперь известно, что Толстой стал первым собирателем чеченского фольклора.

Работая над «Казаками», Толстой не только по памяти восстанавливал свои кавказские впечатления и переживания, но и специально перечитывал дневники тех лет. Из дневника перешли в повесть многие образы и детали: Ванюша, любивший щеголять знанием французских слов; подарок лошади казачонку, беседы с Епишкой и охота с ним; любовь к казачке и ночные стуки в окошко; любованье казачьими хороводами с песнями и стрельбой; мечты купить дом и поселиться в станице; сознательные попытки делать каждый день что-нибудь доброе; рассуждение о том, что надо «без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви».

Но странное дело: читая письма Толстого с Кавказа, мы не находим в них ни того восхищения станичной жизнью, ни того негодования против оставленного в России светского общества, которое содержится в письмах Оленина к приятелю. Все это пришло к Толстому позднее. «Казаки» вобрали в себя и опыт участника Севастопольской обороны, и стремление решить земельный вопрос, и любовь к яснополянской крестьянке Аксинье Базыкиной. После Крымской кампании, после знакомства с кругом «Современника» и поездок за границу Толстой шире понял свое прошлое, иначе обобщил его факты. Исследователи отмечают, что и в художественных деталях — в описании быта, природы, людей станицы Новомлинской многое заимствовано из яснополянских наблюдений; тульский говор вторгается в речь гребенских казаков.

Работа над «Казаками» заканчивалась в те годы (1862), когда жизнь русской деревни особенно близко занимала Толстого. Он снова устроил тогда в Ясной Поляне и в окрестных деревнях школы для крестьянских детей; как мировой посредник отстаивал интересы крестьян в реформе 1861 года; мечтал жениться на крестьянке и отказаться от барского образа жизни.

В духовной жизни главного героя повести не только отра-

зился момент биографии писателя, совпадающий с его пребыванием в 1851—1854 годах на Кавказе, но, в еще большей мере, в ней воплощен тот Толстой, который в начале 60-х годов печатал свои «педагогические» статьи против прогресса, а школы организовывал по образцу казачьих общин.

Судьбы России и ее народа неотступно беспокоили Толстого. Об этом он разговаривал в Лондоне с А. И. Герценом (в марте 1861 г.) и потом в письмах к нему делился своими мыслями, отчаянно спорил с либералами-западниками и консерваторами-славянофилами. Он был уверен, что Россия не может жить по-старому, а новые ее пути не будут слепым повторением европейского буржуазного опыта.

Как и прежде, его волновал и тревожил вопрос: что же делать умному, чуткому и совестливому дворянину, если он недоволен своей средой, если его влечет жизнь общая, народная, если он не хочет чувствовать себя виноватым за социальные и нравственные пороки окружающего мира?

2

Над «Казаками» Толстой трудился, с перерывами, десять лет. В 1852 году, сразу после напечатания в «Современнике» повести «Детство», он решил писать «Кавказские очерки», куда вошли бы и «удивительные» рассказы Епишки об охоте, о старом житье казаков, о его похождениях в горах. Замысел не был осуществлен, может быть, потому, что подробный и очень интересный очерк «Охота на Кавказе» (где Епишка фигурирует под собственным именем) написал и в начале 1856 года напечатал Н. Н. Толстой.

Кавказская повесть была начата в 1853 году. Потом долгое время сохранялся замысел романа, с остродраматическим развитием сюжета. Он назывался «Беглец» или «Беглый казак». Как можно судить по многочисленным планам и написанным отрывкам, события в романе развивались так: в станице происходит столкновение офицера с молодым казаком, мужем Марьяны; казак, ранив офицера, вынужден бежать в горы; про него ходят разные слухи, знают, что он вместе с горцами грабит станицы; стосковавшись по родному дому, казак возвращается, его хватают и потом казнят. Судьба офицера рисовалась по-разному: он продолжает жить в станице, недовольный собой и своею любовью; покидает станицу, ищет «спасения в храбрости, в романе с Воронцовой»; погибает, убитый Марьяной.

Как далек этот увлекательный любовный сюжет от простого и глубокого конфликта «Казаков»!

Договариваясь в 1862 году с издателем М. Н. Катковым о печатании романа в журнале «Русский вестник», Толстой думал, что даст ему сначала часть романа, а потом переделает и допишет остальное. Но когда в январском номере журнала за 1863 год появились «Казаки» в том виде, в каком мы читаем их и теперь, оказалось, что произведение не только закончено, но закончено наилучшим и единственно возможным образом.

Поиски верного тона повествования были в процессе работы над «Казаками» особенно напряженными. С самого начала повесть создавалась в полемике с романтическими сочинениями о Кавказе.

Вместо воображаемых поэтических картин в духе Бестужева-Марлинского, «Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей», рисующихся Оленину, когда он едет на Кавказ, ему предстояло увидеть настоящую жизнь, подлинных людей и природу во всей ее первозданной естественности. Но эти действительные образы были не менее, а только иначе поэтичны. Воспроизвести поэзию реальности для Толстого — важнейшая художественная задача. «Казаки» — одна из самых поэтических его книг.

Не удивительно, что он, вообще не писавший стихов, начал со стихотворения («Эй, Марьяна, брось работу!»), потом пробовал писать свою казачью поэму ритмической прозой, а в окончательный текст повести ввел много песен. Прекрасным стихотворением в прозе звучит рассказ о том, как ранним утром Оленин вдруг увидел горы. Рефрен «а горы...» задает высокий поэтический тон всему дальнейшему повествованию.

И рядом с этим — подчеркнуто деловые, с цифрами, почти этнографические описания терских станиц, строго реалистический рассказ о жизни и быте гребенского казачества.

Эпический замысел, «объективная сфера» (по словам самого Толстого), история и характер целого народа впервые при работе над «Казаками» занимали его с такою силой. С волнением и восторгом перечитывал он в это время «Илиаду» и «Одиссею». Когда «Казаки» были напечатаны, Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен».

Работая над своей кавказской повестью, Толстой, несомненно, оглядывался назад и воспринимал Пушкина и Лермонтова как своих предшественников. О любви к Кавказу он говорил в 1854 году в выражениях, буквально совпадающих со стихами Лермонтова (из вступления к «Измаил-бею»): «Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью.

Действительно хорош этот край дикой, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противуположные вещи — война и свобода».

В 1854 году его поразили «Цыганы», которых он «не понимал» прежде. Перечитывая поэму два года спустя, он опять повторил, что «Цыганы» «прелестны». В главном конфликте повести (столкновение «цивилизованного» человека с простыми людьми, «детьми природы»), в ее названии и даже в расстановке основных персонажей (Алеко — Оленин, старый цыган — старик Ерошка, Земфира — Марьяна, молодой цыган — Лукашка) Толстой следовал пушкинской традиции.

На Лермонтова и Пушкина опирался Толстой в своем споре с этнографически-описательной литературой о Кавказе, которая расцвела в 40—50-е годы прошлого века, и с приключенческой литературой типа романа Купера «Следопыт», упомянутого в «Казаках».

И все-таки в «Казаках» Толстой прямо полемизирует не только с откровенным романтизмом кавказских поэм Лермонтова, но и с пушкинскими «Цыганами». Обдумывая идею кавказской повести, он отвергает, как недостаточные, сложившиеся было у него мысли: что дикое состояние хорошо (у Пушкина: «Мы дики; нет у нас законов...»); что страсти везде одинаковы (у Пушкина: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»); что «добро — добро во всякой сфере» (у Пушкина: «Мы не терзаем, не казним... Мы робки и добры душою»). Толстой воплощает в своем произведении новые идеи, созвучные его времени.

3

Оставив Москву и попав в станицу, Оленин открывает для себя новый мир, который сначала глубоко заинтересовывает его, а потом неудержимо влечет к себе.

По дороге на Кавказ он думает: «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество». В станице он вполне осознает всю мерзость, гадость и ложь своей прежней жизни. Его отношения с казачкой Марьяной — не флирт, не ухаживанье, а настоящая любовь, проясняющая смысл бытия.

Однако стена непонимания отделяет Оленина от казаков. Самоотверженный поступок Оленина (подарок Лукашке коня) вызывает лишь удивление и усиливает недоверие к нему станичников: «Поглядим, поглядим, что из него будет»; «Экой народ продувной из юнкирей, беда!.. Как раз подожжет или что»,

Его восторженные мечты сделаться простым казаком не поняты Марьяной и следующим образом оцениваются ее подругой Устенькой: «А так, врет, что на ум взбрело. Мой чего не говорит! Точно порченый!» И даже Ерошка, любящий Оленина за его «простоту» и, конечно, наиболее близкий ему из всех станичников, застав Оленина за писанием дневника, не задумываясь советует бросить пустое дело: «Что кляузы писать!»

Но и Оленин, искренне восхищаясь жизнью казаков, чужд их интересам и не приемлет их правды. В горячую пору уборки, когда тяжелая, непрестанная работа занимает станичников с раннего утра до позднего вечера, Оленин, приглашенный отцом Марьяны в сады, приходит с ружьем на плече стрелять зайцев. «Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать!» — справедливо замечает бабука Улита. И в конце повести он не в состоянии понять, что Марьяна горюет не только из-за раны Лукашки, а еще и потому, что пострадали интересы всей станицы — «казаков перебили». Повесть завершается грустным признанием той горькой истины, что стену отчуждения не способны разрушить ни страстная любовь Оленина к Марьяне, ни ее готовность полюбить его, ни его отвращение к светской жизни и восторженное стремление приобщиться к простому и милому ему казачьему миру.

В современной Толстому литературной критике и позднее много писалось о руссоизме повести «Казаки».

Оленин — яростный ненавистник цивилизации и горячий поклонник всего «естественного» — действительно выглядит живым последователем идей Жан-Жака Руссо. В юности сам Толстой боготворил женевского мыслителя, носил на груди медальон с его портретом, читал и перечитывал его книги. В старости, вспоминая сочинения, произведшие на него особенно сильное впечатление в молодые годы, Толстой назвал «Исповедь» и романы Руссо («Эмиль», «Новая Элоиза»).

Для Толстого как писателя, для проблематики и поэтики его произведений характерно резкое противопоставление городской, светской и деревенской, близкой к природе жизни. Контраст искусственного городского и естественного деревенского, природного, впервые резко обозначенный именно в «Казаках», составляет главное содержание повести «Семейное счастие», очень многое определяет в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», а в романе «Воскресение» составляет исходную, ключевую мысль.

Но именно в «Казаках» руссоистский идеал не утверждается, а преодолевается: Оленину не дано слиться с миром природы и простых людей, живущих по естественным ее велениям.

Однако не нужно думать, что в повести показано превосходство казаков над Олениным. Это не верно.

В конфликте Оленина с казачьим миром обе стороны правы. Обе утверждают себя: и эпически величавый строй народной жизни, покорный своей традиции, и разрушающий все традиции, жадно стремящийся к новому, вечно не успокоенный герой Толстого. Они еще не сходятся, но они оба должны существовать, чтобы когда-нибудь сойтись. В конфликте между ними Толстой, верный себе, подчеркивает прежде всего моральную сторону. Кроме того, социальные противоречия, с такой силой раскрытые в повестях о русской крепостной деревне — «Утро помещика» и «Поликушка»,— здесь были не так важны: казаки, не знающие помещичьего землевладения, живут в постоянном труде, но и в относительном довольстве. Однако даже и в этих условиях, когда социальный антагонизм не играет существенной роли, стена непонимания остается. И главное: Оленин не может стать Лукашкой, которому неведомо внутреннее мерило хорошего и дурного, который радуется как нежданному счастью убийству абрека, а Лукашка и Марьяна не должны менять свое нравственное здоровье, спокойствие и счастье на душевную изломанность и несчастье Оленина.

Мысли о самопожертвовании, о счастье, заключающемся в том, чтобы делать добро другим, нигде не были высказаны с такой силой чувства, как в «Казаках». Из всех героев Толстого, стремящихся к нравственному самоусовершенствованию, Оленин — самый пылкий, безотчетно отдающийся молодому душевному порыву и потому особенно обаятельный. Вероятно, поэтому он наименее дидактичен. Тот же порыв молодых сил, который влек его к самоусовершенствованию, очень скоро разрушает вдохновенно сооруженные нравственные теории и ведет к признанию другой истины: «Кто счастлив, тот и прав!» И он жадно добивается этого счастья, хотя в глубине души чувствует, что оно для него невозможно. Он уезжает из станицы, отвергнутый Марьяной, чуждый казачеству, но еще более далекий от прежней своей жизни.

Конфликт главного героя со своей средой носит совсем иной характер. Почти не показанная в повести, отвергнутая в самом ее начале, эта московская барская жизнь все время памятна Оленину и предъявляет на него свои права — то в соболезнующих письмах друзей, боящихся, как бы он не одичал в станице и не женился на казачке, то в пошлых советах приятеля Белецкого. В станице Оленин «с каждым днем чувствовал себя... более и более свободным и более человеком», но «не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого

прошедшего». Законы этого отрицаемого в «Казаках» мира точно определены Ерошкой: «У вас фальчь, одна все фальчь». И Оленин, добавляет от себя автор, «слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался». Обличение этой фальши в письме Оленина к приятелю, в разговорах с Белецким проникнуто все той же пылкостью и непримиримостью молодого порыва.

В «Казаках» столкновение народной правды с господской ложью пронизывает все повествование. «Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер» — этот контраст, подмеченный автором в начале первой главы, потом подтверждается размышлениями лакея: «И чего переливают из пустого в порожнее?» — и проходит через всю повесть. В «Казаках» авторская точка зрения очень близка народному взгляду на вещи.

Суду простого народа подлежит в конце концов и Оленин. Он, правда, виноват лишь в том, что имел несчастье родиться и воспитываться в дворянской «цивилизованной» среде. Однако, с точки зрения создателя «Казаков», это не только несчастье, но и вина. Героем повести Оленин становится лишь потому, что решает оставить среду, сделавшуюся ему ненавистной. Разглядев ее фальшь, он уже никогда не будет в ней искать правду.

Путь идейных и нравственных исканий положительного героя Толстого не завершается с его отъездом из станицы Новомлинской. Он будет продолжен Андреем Болконским и Пьером Безуховым в «Войне и мире», Левиным в «Анне Карениной» и Нехлюдовым в «Воскресении».

4

Заглавие — «Казаки» — совершенно точно передает смысл и пафос произведения. Любопытно, что, выбирая в ходе работы разные названия, Толстой, однако, ни разу не остановился на «Оленине».

В 1857 году, работая над «Казаками», Толстой записал в дневнике свои мысли о задачах искусства: «Дело искусства — отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению,— характеры людей; но фокусы эти могут быть характеры сцен народов, природы». «Характеры» народов и природы — эти стороны жизни чрезвычайно много значат в художественном повествовании «Казаков». Эпическое повествование о труде, веселье, войне казаков очень важно

Толстому: таким образом раскрывается «характер народа» — именно народа, а не отдельных лиц, как у Гомера в «Илиаде».

Тургенев, считавший Оленина лишним лицом в «Казаках», был, конечно, не прав. Идейного конфликта повести не было бы без Оленина. Но тот факт, что в жизни казачьей станицы Оленин — лишнее лицо, что поэзия и правда этой жизни существуют и выражаются независимо от него,— несомненен. Не только для существования, но и для самосознания казачий мир не нуждается в Оленине. Этот мир прекрасен сам по себе и сам для себя.

Эпически величавое описание истории и быта гребенских казаков развертывается в первых главах повести вне какой-либо связи с историей жизни Оленина. Впоследствии — в столкновении казаков с абреками, в замечательных сценах виноградной резки и станичного праздника — Оленин выступает как сторонний, хотя и очень заинтересованный наблюдатель. Из уроков Ерошки познает он и жизненную философию и мораль этого поразительного и такого привлекательного для него мира.

Свое открытие этого мира Толстой переносит на страницы «Казаков», рисуя быт и нравы, характер целого народа, каким он сложился в своеобразных исторических условиях. Важно отметить, что в этой попытке пройти путь к народу совершенно отсутствуют религиозные идеи, которые станут для Толстого столь существенными в дальнейшем.

В дневнике 1860 года Толстой записал: «Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда». В повести простая, близкая к природе трудовая жизнь казаков утверждается как социальный и нравственный идеал. Труд — необходимая и радостная основа народной жизни, но труд не на помещичьей, а на своей земле. Так решал Толстой в начале 60-х годов самый злободневный вопрос эпохи.

Позднее он развивал свою мысль о вольной земле и говорил, что на этой идее может быть основана русская революция. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» В. И. Ленин писал, что в творчестве Толстого отразилось крестьянское «стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян...» [1]. Никто сильнее Толстого не выразил в своем творчестве эту мечту русского мужика, и никто больше его не строил утопических

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 211.

теорий, особенно в поздние годы, о мирных путях ее достижения.

Что же представляют собой в этом смысле «Казаки»? Мечту или действительность? Идиллию или реальную картину?

Очевидно, что патриархально-крестьянская идиллия живет лишь в воспоминаниях Ерошки. И при первом знакомстве с Олениным, и потом много раз он повторяет: «Прошло ты, мое времечко, не воротишься»; «Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно...»

На ранних стадиях работы у Толстого являлась мысль — Ерошку, в облике которого особенно ярко воплотился жизненный идеал казачьего мира, сделать товарищем и однолеткой Кирки (будущий Лукашка). В законченной повести Ерошка — воплощение доживающей истории, живая легенда, чуждая новой станице. К нему относятся либо враждебно, либо насмешливо все, кроме Оленина и Лукашки, племянника. Ерошка в свое время «прост» был, денег не считал; теперешний же типичный представитель казачьего общества — хорунжий — оттягал сад у брата и ведет длинный политичный разговор с Олениным, чтобы выторговать лишнее за постой.

Свободная от крепостного права казачья община не избежала развития новых отношений, с их властью чистогана и откровенной антигуманностью.

Не случайно, что человеческий, гуманный взгляд представляет в повести именно старик Ерошка. Он любит и жалеет всех: и убитого в разграбленном ауле ребеночка, и джигита, застреленного Лукашкой, и раненого зверя, и бабочку, по глупости летящую на огонь, и Оленина, которого девки не любят. Но сам он нелюбимый. «Нелюбимые мы с тобой, сироты!» — плача, говорит он Оленину.

Верный жизненной правде, писатель отказался от мысли рисовать в повести казачью идиллию. В лаконичных и точных художественных зарисовках он представил конец казачьей станицы, рождение в ней новых нравов, раскрыл трагедию ломки и уничтожения патриархального крестьянства. По мере работы над повестью старик Ерошка все более становится критиком современности, утверждающим свое отношение к миру — свободное, старокрестьянское. Гуманизм, человечность даны Ерошке как бы самой природой и долгим жизненным опытом. Оленин приобретает эти черты, борясь с самим собой и со своим прошлым.

Одна из важных особенностей эпического строя «Казаков» состоит в том, что некоторые главные, ключевые мысли высказаны в немудреных словах простого человека — старика Ерош-

ки. Он философствует о жизни, о войне, о религиозной вере, об отношениях народов друг к другу. В повествовательной системе Толстого — это новый шаг сравнительно с трилогией, севастопольским циклом, предвестие «Войны и мира» и других созданий последующих лет.

Сюжет строится в «Казаках» совсем не идиллично. Разрушены мечты Оленина о счастливой «естественной» жизни. В ночном столкновении казаков с абреками убит горец. В конце повести опасно ранен Лукашка. Повесть, однако (как и все созданное Толстым), проникнута жизнеутверждающим началом, основанным на гуманизме, человечности.

Повесть утверждает красоту и значительность жизни самой по себе. Ни одно из созданий Толстого не проникнуто такой молодой верой в стихийную силу жизни и ее торжество, как «Казаки». И в этом смысле кавказская повесть намечает прямой переход к «Войне и миру».

В творческой биографии Толстого «Казаки» сыграли особенную, совершенно выдающуюся роль. После неудачи с «Семейным счастием» (1859) он четыре года ничего не печатал и в письмах к друзьям уверял, что совсем отказался от литературы.

«Казаки» обозначили рубеж. Это было возрождение. Сразу после них увидел свет «Поликушка», а с осени 1863 года началась напряженная работа над «Войной и миром». Толстой снова почувствовал себя «писателем всеми силами своей души».

5

В декабре 1852 года Толстой отправил с Кавказа в петербургский журнал «Современник», прогрессивный и самый популярный журнал того времени, свой первый военный рассказ — «Набег». До того в сентябрьском номере журнала была напечатана повесть «Детство».

Когда в «Современнике» появился следующий кавказский рассказ Толстого — «Рубка леса», редактор журнала Н. А. Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Знаешь ли, что это такое? Это очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), т. е. вещь, доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо!» Тогда же Некрасов горячо поощрял молодого Толстого к писательской работе: «Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно».

Летом 1851 года, едва приехав на Кавказ, Толстой в качестве волонтера сам участвовал в набеге, произведенном под начальством князя А. И. Барятинского. В рассказе с большой достоверностью изображен и этот военачальник, и разные офицеры, характерные черты которых зафиксированы в дневниках и письмах Толстого.

Именно в «Набеге» ставит Толстой важнейшую для себя как писателя задачу: раскрыть главные черты русского национального характера, показать, как они проявляются в напряженные жизненные моменты — в минуту военной опасности, перед лицом смерти.

У капитана Хлопова, прапорщика Аланина и поручика Розенкранца по-разному выражается главное качество, нужное на войне,— храбрость. Юношеская бессмысленная горячность Аланина, впервые идущего в дело, показное бесстрашие Розенкранца, подражающего горцам-джигитам, противостоят подлинной храбрости капитана Хлопова. Этот скромный, неразговорчивый, дурно одетый, с виду ничем не замечательный человек формулирует в рассказе главную мысль: «Храбрый тот, который ведет себя как следует». Автор, «рассказчик-волонтер», вспоминает определение храбрости древнегреческого философа Платона и добавляет от себя: «...храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться».*

«Особенная и высокая черта русской храбрости» противопоставлена в рассказе «французскому героизму» и вообще всякой любви к громкой фразе. Нетрудно заметить, что идея эта получит развитие в военных сценах эпопеи «Война и мир». А образ капитана Хлопова, человека с одной из «простых, спокойных русских физиономий, которым приятно... смотреть прямо в глаза», явится прообразом близких автору солдат и офицеров севастопольских рассказов, романа «Война и мир», написанной в конце жизни повести «Хаджи Мурат».

Рисуя капитана Хлопова, Толстой, конечно, следовал литературной традиции, восходящей к лермонтовскому Максиму Максимычу. Однако на страницах своего рассказа он спорит с ложноромантическими представлениями о кавказской жизни. Молодой офицер Розенкранц, один из «удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову», которые «смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени», нарисован без малой доли авторской симпатии.

Пейзажные зарисовки Кавказа с его подлинной красотой и поэзией соседствуют с нарочито, подчеркнуто реалистическими картинами и сценами. Нигде еще не рисовал Толстой так детально целый день в жизни природы, весь ее естественный поря-

док и гармонию: прекрасное утро сменяется солнечным жаром и блеском, вечер — прохладой и тишиною ночи. Эти подробные описания не случайны и не самоцельны. Они заканчиваются кратким авторским заключением: «Природа дышала примирительной красотой и силой». И сразу же Толстой переходит к декларации своей излюбленной гуманистической мысли: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра».

В первоначальных редакциях «Набега» гораздо обстоятельнее рассказывалось о разорении горского аула; в большом публицистическом отступлении, признавая историческую целесообразность кавказской войны, Толстой более справедливым считал поступок какого-нибудь «оборванца Джеми», который, «услыхав о приближении русских, с проклятиями снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит не даром, побежит навстречу гяурам». Все это было снято самим Толстым при окончательной отделке рассказа. Протест против войны стал более отвлеченным, но зато всеобъемлющим.

После всех драматических событий рассказа в конце возникает мажорный мотив. Вновь прекрасная картина природы и созвучный ей «подголосок» шестой роты: звуки его чистого грудного тенора далеко разносятся по прозрачному вечернему воздуху.

В кавказских рассказах складывался общий взгляд писателя на жизнь, на войну и мир — иными словами, философия бытия, воплощенная в художественных образах.

Война и мир резко противопоставлены, и война осуждена, потому что это — разрушение, смерть, разъединение людей, вражда их друг с другом, с красотой всего «божьего мира».

В «Рубке леса» повествование о войне осложняется новыми мотивами. Столкновение с неприятелем — испытание душевных и физических сил человека. В этом испытании есть своя красота. Первые звуки выстрелов «особенно возбудительно» действуют на всех; потом все вдруг принимает «новый величественный характер», и солнце бросает «веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея». Мысль о смерти побуждает к тому, что «все с большей деятельностью принялись за дело». Но весь рассказ отрицает войну, и

голос повествователя звучит патетически в главах о ранении и смерти солдата Веленчука. Завершается рассказ авторским рассуждением о «духе русского солдата»: «...скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера».

Испытание смертью — излюбленная сюжетная ситуация у Толстого. «Три смерти» — так назван рассказ 1858 года. Даже в гибели дерева — красота и поэзия. С этой высоты осуждает Толстой ложь последних дней жизни «ширкинской барыни», боящейся смерти, и спокойно, мудро смотрит на тихое, как будто безразличное умирание ямщика Федора.

С точки зрения Толстого, красота и могущество природы существуют сами по себе, как первооснова бытия, и могут научить человека великим законам жизни. Срубленное дерево гибнет, страдая: «...вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне». Но затем следует жизнеутверждающая картина: «Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветками».

6

После Кавказа, Севастополя, короткого пребывания в Петербурге и Москве Толстой в 1856 году прочно поселяется в своей Ясной Поляне. Здесь закончил он повесть «Утро помещика», здесь же завершен рассказ «Поликушка», начатый во время второго заграничного путешествия.

«Утро помещика» — фрагмент большого, задуманного и начатого на Кавказе «Романа русского помещика».

Подобно Дмитрию Оленину, Дмитрий Нехлюдов стремится идти «по совершенно особенной дороге», хотя любимая тетушка и советует ему выбирать «торные дорожки: они ближе ведут к успеху». Но любимому герою Толстого нужен не успех, а добро и справедливость. Ему важно чувствовать себя невиноватым. Нехлюдов оказывается, однако, виноват перед своими неизбывно нищими крестьянами и бессилен улучшить их положение. Он постоянно испытывает «чувство, похожее на стыд или угрызение совести». Слово «виноват» — самое характерное и постоянное в «Утре помещика».

Стена недоверия и непонимания разделяет Нехлюдова с крестьянами — и бедными, как Иван Чурис, Юхванка Мудреный, Давыдка Белый, и зажиточными, как Дутлов. В «Утре помещика» определилось характерно толстовское построение сюжета:

жизненный и нравственный потенциал героя проверяется в его взаимоотношениях с крестьянским миром.

Толстой правдив до конца и показывает без всякой идеализации самих крестьян: косность Чуриса, хитрость Юхвана, лень Давыдки, жадность Дутлова. Но в целом картина народной нищеты нарисована с глубоким сочувствием и состраданием. При всех прекрасных свойствах доброго барина, правда — на крестьянской стороне. Укоряющие слова Нехлюдова, обращенные к Чурису, автор повести называет иронически «излияниями» и добавляет, что эти слова «неспособны возбудить доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и неохотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных». Крестьяне, хоть и вполне зависят от барина, чувствуют свое превосходство над ним: Чурис упрямо отказывается переселиться в другую избу; Юхванка (Нехлюдов с горечью догадывается об этом) «смеется над ним и мысленно считает его ребенком» и потом кидает вдруг «дерзкий взгляд на лицо барина»; весь облик матери Давыдки Арины выражает «ум и энергию»; кормилица, встретившись с Нехлюдовым, «нисколько не робеет» и «смело» глядит на него; в Дутловых ясно видна «самоуверенность и некоторая гордость», а разговор с Карпом Нехлюдов начинает «заминаясь».

Подобно Оленину, Нехлюдов размышляет: «Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастие!» Но заключительная глава повести рисует иную картину — подлинного счастья, дарованного Илюшке Дутлову. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему».

Известно, что историю несчастного дворового, лишившего себя жизни, рассказала Толстому в Брюсселе одна из княжон Дондуковых-Корсаковых — как быль, случившуюся в их имении Глубокое Псковской губернии.

Однако в «Поликушке» и в образах самого Поликея, его жены, детей и других крестьян, и во всей обстановке крепостного и дворового житья-бытья, несомненно, проглядывают яснополянские впечатления Толстого. Так, в списке крестьян Ясной Поляны за 1858 год значится Поликей, 38 лет, и его жена Акулина. Десятиаршинный «флигерь», где в углу жил Поликушка, похож, по словам старшего сына Толстого, Сергея Львовича, на бывшее помещение дворовых в Ясной Поляне (сохранившийся доныне «дом Волконского»). Комментаторы отмечают множество других совпадений. Фамилии крестьян: Дутловы, Ермилины, Резун (Резуновы), Жидков взяты у действительных лиц яснополянской деревни. Агафья Михайловна — имя

жившей на покое в Ясной Поляне старой горничной графини П. Н. Толстой, бабушки писателя. В черновиках повести находилась характеристика жены Илюшки Дутлова — Аксиньи, в которой угадываются черты Аксиньи Аникановой (Базыкиной), героини незаконченных рассказов начала 60-х годов («Тихон и Маланья», «Идиллия») и позднейшей повести «Дьявол». Имя Егора Михайловича носил приказчик в имении сестры Толстого, Марии Николаевны. Была, наконец, в Ясной Поляне и лошадь по кличке Барабан.

Очевидно, что «Поликушкой» Толстой откликался на самый жгучий вопрос современности, глубоко волновавший и его лично как владельца Ясной Поляны, пытавшегося решить крестьянский вопрос, не дожидаясь отмены крепостного права.

К началу 60-х годов у Толстого не оставалось уже никаких иллюзий о возможности добрых отношений между помещиком и крепостным крестьянином. Отрицание «вековой крепости» сблизило его с лондонским изгнанником — Герценом, привлекло внимание к лучшим представителям дворянского класса — декабристам, о которых он начал в эти годы писать повесть, приведшую к «Войне и миру».

Не удивительно, что новую повесть Толстого, как только она была напечатана в журнале, восторженно приветствовал Тургенев, такой же великий знаток русской деревни и такой же неумолимый противник крепостного права. А. А. Фету Тургенев писал, что, прочитав «Поликушку», он «удивился... силе крупного таланта» Толстого: «Есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!»

Подробно, с величайшим вниманием и точным знанием, воспроизводит Толстой обстановку, психологию, речь не только несчастного Поликея, но и всех других крестьян. Причем нередко автор ведет повествование словно бы от лица героя или от лица человека, близкого крестьянину по взгляду на вещи и лексикону. Такова, например, вторая глава, рассказывающая о Поликее и его жизни, седьмая — о поездке его в город.

То «обожание» крестьянской жизни, каким отмечены все литературные замыслы Толстого начала 60-х годов, его педагогические воззрения и занятия яснополянской школой, явственно сказалось в «Поликушке». И надо думать, что среди крестьянских детей Ясной Поляны подсмотрел Толстой тот тип смешной и трогательной девочки Аксютки (с ее незабываемым «однова дыхнуть»), который много лет спустя оживет в народной драме «Власть тьмы» в образе Анютки.

С пьесой «Власть тьмы» рассказ о Поликее связан раз-

мышлениями о деньгах и о зле, какое они производят. «Эх, деньги, деньги! Много греха от них... Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано!» — говорит Дутлов. «Страшные деньги, сколько зла они делают!» — вторит ему барыня.

И это говорят люди, имеющие много денег. Говорят лицемерно. Поликей гибнет в конечном счете не из-за страшной власти денег, а в силу нравственной своей беспомощности и жалкой зависимости от любого каприза барыни. Точно так же в поздней пьесе «власть тьмы» на самом деле оказывается не властью денег, но более страшной силой — властью темного, безнравственного сознания, творящего зло, того не ведая.

Свое великое знание народной жизни и глубочайшую любовь к ней Толстой одухотворил страстным желанием ее изменения и утверждения на новых, человечных основах.

Это желание приведет его позднее к полному разрыву со взглядами дворянской среды и беспощадному обличению всех установлений антинародного государства. За это именно обличение в 1901 году он, всемирно известный писатель, будет отлучен от православной церкви как вероотступник и бунтовщик.

Но никакие проклятия церковников не смогут ни укротить могучий дух Толстого, ни уменьшить любовь людей к нему. Об этом вдохновенно расскажет А. И. Куприн в «Анафеме». Всю ночь протодьякон Олимпий, читая «Казаков», плачет от радости, умиления и нежности. А наутро мощным голосом, от которого дрожит собор и звенят люстры, вместо анафемы выславляет Льву Толстому «многая лета».

Л. Опульская

НАБЕГ

Рассказ волонтера

I

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке,— форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его,— вошел в низкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковника,— сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил,— завтра батальон наш выступает.

— Куда? — спросил я.

— В NN. Там назначен сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

— Должно быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала — привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? — этого, батюшка, не спрашивают: велено идти и — довольно.

— Однако если сухарей берут только на два дня стало и войска продержат не долее.

— Ну, это еще ничего не значит...

— Да как же так? — спросил я с удивлением.

— Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами идти? — спросил я, помолчав немного.

— Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело,— и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с богом. И славно бы! — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту дей-

ствительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан.— Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, это-то меня и не занимает,— отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый,— сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос.— *Храбрый тот, который ведет себя как следует,*— сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться,* и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться.*

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да,— сказал я,— мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства,— тру-

сость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнию, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

— Ну уж этого не умею вам доказать,— сказал он, накладывая трубку,— а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и — живая грамота — могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница,— сказала она, с крестом поцеловав изображение божией матери и передавая мне в руки,— потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок божией матери. Вот уж восемнадцать лет, как заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит,— продолжала она,— я его им благословляю. Заступница пресвятая защитит его! Особенно в

сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку,— продолжала старушка,— он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю бога,— заключила она со слезами на глазах,— что дал он мне такое дитя.

— Часто он вам пишет? — спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха,— сказал он оттуда несколько глухим голосом,— приведет ли еще бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите? — сказал я.

— Надо же служить,— отвечал он с убеждением.— А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка

с опустившимся пожелтевшим курпеем[1] и незавидная азиатская шашка через плечо. Беленький маштачок[2], на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки[3], подле берега небольшой речки, которая в это время *играла*, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в вы-

---

[1] Курпей на кавказском наречии значит овчина. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

сокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом,— одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самброталического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*[1] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

— И куда скачет? — с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой? — спросил я его.

— Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело? — сказал я.

— То-то и радешенек! — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой.— Молодость!

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуты две.

— То-то я и говорю: молодость! — продолжал он

---

[1] Тордоканье — крик фазана. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

басом.— Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?

III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышались изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — большею частию унтер-офицеры — шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали [1], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты, на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет*, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами [2], желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо

---

[1] Джигит — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться». *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Чиразы значит галуны, на кавказском наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов,— даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени,— но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками [1] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться,— но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отмстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что

---

[1] К у н а к — приятель, друг, на кавказском наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его,— черкешенка, разумеется,— с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости ночью был пожар и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы

снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке,— не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата [1], где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое

[1] предместья (от *нем.* Vorstadt).

желание и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал мне адъютант, вставая с места,— мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал? — спросил я.

— Графиня,— отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse [1],— сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir [2].

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général [3].

— Non, à revoir,— сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы,— n'oubliez pas, que je m'invite pour le soirée de demain [4].

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек,— думал я, возвращаясь домой,— имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность,— и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хоро-

---

[1] Добрый вечер, графиня *(фр.)*.

[2] Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной *(фр.)*.

[3] Ну, прощайте, дорогой генерал *(фр.)*.

[4] Нет, до свиданья,— не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер *(фр.)*.

шенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки; [1] на улицах слышны были то то-

[1] Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

ропливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer» [1].

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай пааааальник!» —и голос солдатика, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди,— и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со сви-

---

[1] «Аврора-вальс» *(нем.)*.

той. Сзади нас подвигалась такая же мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.

VII

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, — и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была

передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе [1]. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня.

— А ты не знаешь? — отвечал он.

— Не знаю.

— *Это горской солома на таяк [2] связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал,— русской пришел. Теперь в аулах,—* прибавил он, засмеявшись,— *ай-ай томаша [3] идет, всякий хурда-мурда [4] будет в балка тащить.*

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает! наши народ такой!*

— Так и Шамиль теперь сбирается в поход? — сказал я.

— *Йок [5],—* отвечал он, качая головой в знак отрицания.— *Шамиль на похода ходить не будет; Шамиль наиб [6] пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

---

[1] Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Таяк значит шест, на кавказском наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[4] Хурда-мурда — пожитки, на том же наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[5] Йок — по-татарски значит нет. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[6] Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— А далеко он живет?

— *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты знаешь? — спросил я.— Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид*[1] *кругом. Шамиль середка будет!* — прибавил он с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке и Стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Все смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шепотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

— Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь,— сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начинала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лоша-

---

[1] Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

дей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настораживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницей рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «Это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

— Ваше превосходительство! — говорил он, приставляя руку к папахе,— прикажите пустить кавалерию: показались значки [1],— и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

— С богом, Иван Михайлыч! — говорит генерал.

---

[1] Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

«Урра! Урра! Урра!» — раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием: вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

— Quel charmant coup d'oeil [1] — говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— Charrmant! — отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу.— C'est un vrrai plaisirr, que la guerre dans un aussi beau pays [2],— говорит он.

— Et surtout en bonne compagnie [3],— прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подскакивая, начальник артиллерии.

— Да, попугайте их,— небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик

---

[1] Какое прекрасное зрелище! *(фр.)*

[2] Очаровательно! Истинное наслаждение — воевать в такой прекрасной стране *(фр.)*.

[3] И особенно в хорошей компании *(фр.)*.

войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми[1] деревьями; с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган[2] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N., тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самбронталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда

---

[1] Лыча — мелкая слива. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*
[2] Кумган — горшок. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

— А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне идти? — сказал он, спокойно глядя в сторону.

— Туда, куда другие ушли,— заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

— Разве ты не боишься русских?

— Что мне русские сделают? Я старик,— сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного,— сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением,— да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как провожать начнут, что их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнеич?.. Давай нож...

— Что-нибудь делят, подлецы,— спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить,— сказал он, робко улыбаясь.

X

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N., остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «Иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слы-

шались замечания вроде следующих: *«Он*[1] откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура.*

— Мы их отобьем,— убедительно говорил он,— право, отобьем.

— Не нужно,— кротко отвечал капитан,— надо отступать.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр»,— сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его:* те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но про-

---

[1] Он — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

стом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда.* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «La garde meurt, mais ne se rend pas» [1],— и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое «ура». Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту

---

[1] «Гвардия умирает, но не сдается» *(фр.)*.

перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

— Известно, жалко,— сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня.— Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого.— Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься? — спросил я.

— А то нет!

XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками,— сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него,— видно, так богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так богу угодно,— повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом

месте,— сказал он шутливо-небрежным тоном,— покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

— Оставьте меня,— сказал он чуть слышным голосом,— все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?», мне отвечали: *«Отходит»*.

XII

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

1852

РУБКА ЛЕСА

Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я коман-

довал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать»,— сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать»,— повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. «Пехота выступает». Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами: «С богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

— Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был — я его видал,— а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы,— а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

— Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

«Ты форостинку зажги да подай»,— сказал другой. «Пальник, братцы, подайте»,— сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем, в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эхма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск; кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.
2) Начальствующих и
3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на a) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип,— тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей,— есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль,— и так же ужасно дурен во

втором подразделении — отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастие: сукно, которое стоило *семь рублей,* в ночь пропало! Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастие, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастия. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастие. Он не пил, не ел,

работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич,— и те у Жданова занял,— сказал он, снова всхлипывая,— а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича, должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько

я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов,— тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не характер его»,— говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру с короткими, выгнутыми ножками и глянцевитой усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице,— надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми уси-

ками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку» [1], или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало,— со стар-

[1] Солдатская игра в карты. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

шим чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как непьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что, когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал»,— говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастия пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая как лунь голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, вглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас.

IV

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы *сихарки* курил, милый человек! — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая.— Я так всё сихарки дома курю: она слаще!

Разумеется, все покатились со смеху.

— То-то, трубку забыл,— перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки.— Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось,— отвечал Веленчук.— С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то; а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно,— заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои,— продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности,— право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть,— заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил,— сказал Антонов, натягивая сапог,— уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты,— заметил Веленчук,— добро уж пьяный бы был...

— Так-то у нас дома баба была,— начал Чикин,— так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит,— так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе,— сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд,— известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

— Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал?*

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем,— начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое,— я говорю, живем хорошо, милый человек: провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата,* а в обед идет господский *суп* из перловых *круп,* а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

— Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук,— вот так модера!

— Ну, а про эзиятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку, и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

— Тоже спрашивают, какой, говорит, там малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть,— продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку,— те другие — двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, милый, как же они, мумры-то рука с рукой так и родятся, что ли?» — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом.— «Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет».— «А кажи, малый, как они бьют-то?» — говорит. «Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...»

— Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу, верют. А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! «Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит». Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с»,— как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите,— говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча,— где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите. Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом,— прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время,— еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся,— сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотят,— добавил третий.— Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева хватит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет,— как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему, так же как и другим, ужасно хотелось выпалить,— коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить,— продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно,— сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-богу, перенесет,— заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это.— Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дереву попанет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» — послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало,— заметил Веленчук,— говорил, в дереву попанет: оно и есть — взяло вправо.

VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски.

Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя невысказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? — и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится? — сказал он лениво,— скучно!

— Мне не скучно,— сказал я,— ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже,— сказал он со злостью.— Нет! когда все это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ,— сказал я,— коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего,— отвечал он с решительной откровенностью,— по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

— Да, это почти правда,— сказал я,— бо́льшая часть из нас...

— Но что лучше всего,— перебил он меня,— что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками,— все это страшное что-то, а в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кав-

каз разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д. ...

— Да,— сказал я, смеясь,— мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ,— перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

— Может быть, и хорош,— продолжал он с какою-то раздражительностью,— знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...— Он остановился и посмотрел на меня.— Без шуток.

Хотя это непрошеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле,— продолжал он,— и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел как полотно и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет,— прибавил он,

вертя кулак перед своей грудью.— И что смешно,— продолжал он,— что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? — прибавил он, зевая.

— Это *он*, братцы мои! — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат,— и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — господи, прими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро,— и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот если бы я был Наполеон или Фридрих,— сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне,— я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали,— отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков,— прибавил он, улыбаясь.

— Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону,— трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» — и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали

летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» — говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов, лихо в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело»,— подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова,— только рекрутик пробормотал что-то, вроде: «Вишь ты как, в кровь»,— и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали! берись!» — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу,— а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то яс-

ный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок[1] с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

— Тут три монеты и полтинник,— сказал он мне в то время, как я брал в руки черес,— уж вы их сберегёте.

Повозка было тронулась, но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо,— сказал я,— выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

IX

— Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили,— сказал он, опять улыбаясь.

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

---

[1] Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

X

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались

мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье,— сказал мне подошедший Николаев,— пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чая и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» — послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» — с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он.— О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех

пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастие жизни, всю будущность свою погублю.

XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и маслеными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден,

всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч? — сказал он, входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы...— начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание,— тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...» — и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек,

для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб,— родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни,— человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

— Ну, что? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом — восвояси.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? — прибавил он, хотя все молчали.— Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч,— продолжал он, видимо, желая переменить разговор,— мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

— Да, знаете, в России хорошо,— продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой.— Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала

и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что Анну, за что Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа,— там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Что?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом.— Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе,— сказал Болхов,— а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

— Какой десять! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? — прибавил он, улыбаясь,— выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду,— продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора,— я и ходить и говорить-то по-русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия. Так, Николай Федорыч?.. Да и что мне в России! Все равно тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? — подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с.

— Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч,— продолжал он,— молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич,— робко сказал адъютант,— хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что вы мне говорите, молодой человек! я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите,— прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Всё вперед жалованье забираем — вот вам и счет,— сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем»,— подумал я.

XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой,* и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни...— начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что, вы обошли цепь?
— Обошел-с.
— А секреты высланы?
— Высланы-с.
— Так вы передайте приказание ротным командирам, чтоб были как можно осторожнее.
— Слушаю-с.
Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.
— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.
— Они уж варят.
— Хорошо. Можете идти-с.
— Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру,— продолжал майор, со снисходительной улыбкой обращаясь к нам.— Давайте считать.
— Нужно вам один мундир и брюки... так-с?
— Так-с.
— Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с?
— Так-с; это даже много.
— Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей — вот и все. Выходит всего двадцать пять, да сто двадцать, да тридцать = сто семьдесят пять. Все вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак рублей двадцать. Изволите видеть?.. Правда, Николай Федорыч!
— Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адъютант,— ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки — все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!
— Да, подвертки прекрасно носить,— сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово «подвертки»,— знаете, просто, по-русски.
— Я вам скажу,— заметил Тросенко,— как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое,— продолжал он, обращаясь к прапорщи-

ку,— тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается.

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него.— Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России,— видали мы их,— так у него тут и спазмы и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот сел тут — мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего,— продолжал он,— в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатого на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Изволите видеть...— начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» — и пошел. Только как мы подошли к первому завалу, я

обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! в оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... взжинь! взжинь! взжинь!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв,— подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв,— сказал он скоро.— Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — нельзя идти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв,— подсказал я.

— Совсем нет,— продолжал он с сердцем,— не обрыв, а... ну, вот, как это называется,— и он сделал рукой какой-то нелепый жест.— Ах, боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может,— сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет,— сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана,— его и не было вовсе на завалах»,— и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

XIII

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях.

Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко* [1], Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папиросу. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянуто-

---

[1] Солдатское кушанье — моченые сухари с салом. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

го. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упомянул ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали,— сказал Максимов после довольно долгого молчания,— сейчас воротились.— Он плюнул в огонь.— Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив еще? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально по-

смотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке,— сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень,— и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

— «Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя твое; да приидет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

— Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был,— сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня,— так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку,— сказал он.

— Что ж, закуривайте: огню достаточно,— заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про сорок пятый год, про Дарги,— ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

— Да уж было там всего,— заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как *он* стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отби-

лись мы как-то. Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было,— заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношенкой,— старый фирверкин был,— что ж в самом деле, живому ему не быть, а богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили — у Жданова были,— прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был,— заметил Жданов.

— И что с ним сталось, бог его знает,— продолжал Антонов.— Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой,— уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно.— Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил,— отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо идти,— сказал Антонов,— от богатого дома али когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что идти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов,— самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «березушку» спел бы,— сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова,— сказал мне шепотом Чикин, дернув меня за шинель,— другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря — храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

УТРО ПОМЕЩИКА

I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние ваканции в свою деревню и один пробыл в ней все лето.

Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастию. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии.

Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а

я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда и не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастие своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастие, чем счастие других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

Нищета нескольких крестьян — зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя.

Честолюбие — добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.

II

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique [1]», с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищеным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темнорусыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движеньях его и походке заметны были сила, энергия

[1] «Ферма» *(фр.)*.

и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок — просил сошек»,— прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.

Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой поневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

— Дома, кормилец,— проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженый, почерневший навоз; на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Бог помощь! — сказал барин, входя на двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на средину двора.

— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать,— с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика.— Пока-

жи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадысь угол завалился; еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит,— говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи.— Теперь и стропила, и откосы, и перемёты только тронь — глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы,— все новое нужно,— сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат,— сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу,— так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь сооружую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

— А кто е знает!

— Нет, ты как думаешь? завалится он — или нет?

Чурис на минуту задумался.

— Должон весь завалиться,— сказал он вдруг.

— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

— Много довольны вашей милостью,— недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок.— Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может,

сам управлюсь, а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

— А разве у тебя и изба плоха?

— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь,—равнодушно сказал Чурис.— Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

— Как убила?

— Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

— Что ж, прошло?

— Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и отроду хвóрая.

— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

— Все вот тут не пущает меня, да и шабаш,— отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь.

— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами,— отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

— Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое...

III

Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образóв и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

— Да, изба очень плоха,— сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

— Задавит нас, и ребятишек задавит,— начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: — И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки и подкладки клал — ничего нельзя исделать!

— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.

— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать,— перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем,— да кой-где перемёты переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится,— заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

— Не посмел, ваше сиятельство,— отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

— Наше дело мужицкое: как мы смеем!..— начала было, всхлипывая, баба.

— Ну, гуторь,— снова обратился к ней Чурис.

— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени.— А вот что мы сделаем, братец...

— Слушаю-с,— отозвался Чурис.

— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

— Как не видать-с,— отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы,— еще немало дивились, ка́к клали-то их,— мудреные избы! Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! — заключил он, с выраженьем насмешливого недоумения, покачав головой,— остроги словно.

— Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны,— возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

— Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

— Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь,— сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние.— Ты свою старую сломаешь,— продолжал он,— она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

— Воля вашего сиятельства,— отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

— Воля вашего сиятельства,— повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами,— а на новом хуторе нам жить не приходится.

— Отчего?

— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

— Да отчего ж?

— Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

— Отчего ж там жить нельзя?

— Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у

нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное...— повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— Вот бы важно-то было! — заметил он и снова усмехнулся.— Пустое это дело, ваше сиятельство!

— Да что ж, что место нежилое? — терпеливо настаивал Нехлюдов,— ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

— И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! — с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения,— здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить — много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить,— продолжал он, низко кланяясь,— не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

— Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша

мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты...— завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

— Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану,— говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем,— и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы,— и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово,— говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

— Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я

им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

— Много довольны вашей милостью,— отвечал смущенный Чурис.— Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся.— Что мир? Дело известное...

— Нет, ты приходи.

— Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.

IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, нетопленную печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.

Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, проговорила баба.— Хлебушка поснедали — вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство,— вмешался Чурис, поясняя слова бабы,— хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще слава ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михайла-огородника, анадысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что и в церкву божью не ходим, и свечку Миколе купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем вос-

питанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал — сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее,— и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

— Вот моя подмога вся тут,— продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса.— Вот и подсобка моя вся тут,— продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка,— когда его дождешься? а мне уж работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого,— вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо,— уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только будет

милость ваша насчет училища его увольте: а то намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

— Нет, уж это, брат, как хочешь,— сказал барин,— мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет,— говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство,— вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик,— и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

— Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время,— слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

V

— Да я еще хотел сказать тебе,— сказал Нехлюдов,— отчего у тебя навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся.

— Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? — с удивлением спросил барин.

— А чем кормить станешь?

— Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

— У других земли навозные, а моя земля — глина одна, ничего не сделаешь.

— Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

— Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?

«Это странный cercle vicieux» [1],— подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.

— Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог,— продолжал Чурис.— Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как бог! — прибавил он со вздохом.— Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в запрошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову,— сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее,— купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна,— я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

— Много довольны вашей милостью,— сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать,— сказал он, останавливаясь у колодца,— тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.

— Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство,— сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение ли-

[1] порочный круг *(фр.)*.

ца, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться.— Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помёр он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

— Зачем же вы разошлись?

— Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил,— и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич — не тем будь помянут — человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз, другой — нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все»,— а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш — царство небесное — барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

VI

«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать»,— прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротищам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая понева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная понева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впа-

лой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

VII

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

— Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси,— сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе.

— Дома сын твой? — спросил барин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и так же

беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

— Здравствуй, Епифан,— сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, васясо»,— особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем; потом он торопливо подошел к полатям, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

— Зачем ты одеваешься? — сказал Нехлюдов, садясь на лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

— Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? — сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

— Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику,— отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова,— мы всегда за вашего сяса богу молим...

— Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обежал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая»,— и торопливо оборотился к барину:

— Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

— А сколько у тебя всех лошадей?

— Три лошади, васясо.

— А жеребят нет?

— Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

VIII

— Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

— Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут; мы и не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

— Так тут все твои лошади?

— Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек,— отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

— Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

— А вот евту-с, васясо,— отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

— Он не старый на вид и собой лошадка плотная,— сказал Нехлюдов.— Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

— Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая — и зубом и передом, васясо,— отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

— Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что ж ты?» — бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.

— Дай сюда оброть! — сказал он.

— Помилуйте! как можно васясу? не извольте...

Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин,— стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

— Поди сюда! — крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе.— Что, эта лошадь старая?

— Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

— Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой.— Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? — продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: — Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому.

— Мы вашему сясу,— отвечал он,— не хуже других на работу выедем.

— Да на чем же ты выедешь?

— Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим,— отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его.— Коли бы не нужны деньги, то стал бы разве продавать?

— Зачем же тебе нужны деньги?

— Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

— Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

— Ели, вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

— Лошади продавать и думать не смей!

— Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету, и продать ничего не смей,— отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: — Значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая злобное чувство личности против мужика,— таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

— На то воля вашего сясо,— отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выраженьем,— коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

— А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают,— смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки.— Про человека все сказать можно.

— Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

— Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина.

— Послушай, Епифан,— сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и ста-

раясь скрыть свое волнение,— этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала,— как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

— Вот вам на хлеб,— сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию,— только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

IX

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев»,— значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

— Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков, защищаясь фуражкою от солнца, но не надевая ее.

— Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

— А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы.

— Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

— Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

— И жена его,— перебил барин управляющего,— кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство,— начал он,— то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городу на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь — он опять в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

— Уж это оставь, Яков,— отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь,— про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю; и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

— Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно,— сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего.— А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно,— продолжал он,— оно,

конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула — бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать,— говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице.— Домой изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

— Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним ни делал — ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекун и я: и в стан посылали, и дома наказывали — вот что вы не изволите любить...

— Кого? не-уже-ли старика?

— Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит — не пьет то есть,— объяснил Яков,— а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай,— рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни

амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое,— такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

— Эй! кто тут? — крикнул барин.

С печки послышался другой протяжный вздох.

— Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.

— Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лени-

во и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волоса, и тело, и лицо его — все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики,— то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

— Ну, как же тебе не совестно,— начал Нехлюдов,— середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал: но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо — я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

— Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уже целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит — а?

Давыдка упорно молчал и не двигался.

— Ну, отвечай же!

Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

— Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна,— все от лени. Ты просишь у меня хлеба; ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: чей хлеб я тебе дам? — упорно допрашивал Нехлюдов.

— Господский,— пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

— А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех,— на тебя и на барщине жалуются,— меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно — слышишь, Давыд?

— Слушаю-с,— медленно пропустил он сквозь зубы.

X

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромысле, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула поневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

— С праздником Христовым, ваше сиятельство,— сказала она,— спаси тебя бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.

— Спасибо, Арина,— отвечал Нехлюдов.— Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов:

— Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он говорить-то не может как человек. Вот он стоит, олух,— продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую, массивную фигуру Давыдки.— Какое *мое* хозяйство, батюшка ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину — срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот и дождались: хлеб лопает, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет,— сказала она, передразнивая его.— Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради господа бога, в солдаты ли — один конец! Мо́чи моей с ним не стало — вот что.

— Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? — сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.

Давыдка не двигался.

— Ведь добро бы мужик хворый был,— с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина,— а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что,— говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами.— Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать; так нет вот, и лопаты в руки не брал... (На минуту она замолчала...) Загубил он меня, сиро-

ту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну.— Гладкая твоя морда лядащая, прости господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мóчи моей уж нет! Невестка с работы извелась — и мне то же будет.

XI

— Как извелась? — недоверчиво спросил Нехлюдов.

— С натуги, кормилец, как бог свят, извелась. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина,— продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное,— ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. Дома-то у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала — и на барщину, и дома, и везде. Она да я — только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть: а все через силу работала — ну, и надорвалась, сердечная. Летось, петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла — у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да и дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь! Ну известно, бабья глупость,— она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну...— Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство,— продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

— Что? — рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

— Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой

работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

— То есть ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

— Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери.

И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

— Зачем ты в землю кланяешься? — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи.— Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста; я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина.

— Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

— Разве она не согласна?

— Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

— Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

— Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу жизнь да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажут, почитай что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст,— прибавила она, недоверчиво качая головой,— рассуди, ваше сиятельство.

— Так что ж я могу сделать?

— Обдумай ты нас как-нибудь, родимый,— повторила убедительно Арина,— что ж нам делать?

— Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае.

— Кто ж нас обдумает, коли не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

— Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпу-

стить,— сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей.— А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином.

XII

— О-ох, сиротство мое! — сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери.

— Что я с ним буду делать, отец? — продолжала Арина, обращаясь к барину.— Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит — грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни есть, а моя утроба носила; жалею его, уж как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец,— повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина...— Я, батюшка ваше сиятельство,— продолжала она доверчивым шепотом,—и так клала, и этак прикидывала: ума не приложу, отчего он такой. Не иначе, как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

— Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

— И, отец ты мой, так испортят, что и навек нечеловеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу... или что там... и навек нечеловеком сделает; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спу-

щает; так не пособит ли он? — говорила баба,— може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне.— Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно,— говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины.— Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся,— подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов.— Сослать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере, и от него избавлюсь, и еще заменю хорошего мужика»,— рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием: но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума, и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю,— сказал он сам себе,— да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почем я знаю... Отпустить на волю? — подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде,— несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор,— сказал он сам себе,— самому наблюдать за ним, и кротостью, и увещаниями, выбором занятий приучать к работам и исправлять его».

XIII

«Так и сделаю»,— с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.

— С праздником, батюшка,— сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

— Здравствуй, кормилица,— отвечал он,— как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

— Так-с, батюшка ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

— Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Эта твоя изба?

— Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

— Там жарко; лучше здесь посидим, потолкуем,— отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

— Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

— Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им так, даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?

— Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине, почитай, первый мужик,— отвечала кормилица, поматывая головой.— Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец как с поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик оченно сильный, и деньги должны быть.

— А как ты думаешь, много у него денег? — спросил барин.

— Люди говорят, известно — по злобе, может, что у старика деньги немалые; ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Нешто побоится славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкаликом-дворником в доле, по малости стал зай-

маться, да обманул, что ли, его Шкалик-то, так рублев триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им исправным не быть, батюшка ваше сиятельство,— продолжала кормилица,— при трех землях живут, семья большая, все работники, да и старик-от — что же худо говорить — сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

— Что ж они, ладно живут? — спросил барин.

— Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы — известно, бабье дело; невестки за печкой полаются, полаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

— Теперь старик большего сына, Карпа, слыхать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

— Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами,— как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

— Вряд ли, батюшка,— продолжала кормилица,— старик сыну денег не открывал. Пока сам жив да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует; да и они больше извозом займаются.

— А старик не согласится?

— Побоится.

— Чего ж он побоится?

— Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравён случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

— Да, от этого...— сказал Нехлюдов, краснея.— Прощай, кормилица.

— Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

XIV

«Нейти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восемнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

— Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов.

— На осике, за двором,— отвечал парень, проводя, одну за другою, лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит»,— подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

— Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.

— Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно,— сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора,

с тем чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.

— Вот что,— начал Нехлюдов, заминаясь,— я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

— Троек пять наберется, жеребятки есть тоже,— развязно отвечал Карп, почесывая спину.

— Что, братья твои на почте ездят?

— Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

— Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

— Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми — и то слава богу.

— Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.

— Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

— Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположенье о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

— Мы много довольны вашей милостью,— сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа.— Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.

— Так как ты думаешь?

— Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

— Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

— Сюда пожалуйте,— сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

XV

Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его

любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастием.

— Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает,— сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину.— Меня пчела знает, не кусает,— прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

— Так и мне не нужно. Что, роится уж? — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

— Коли роиться, батюшка Митрий Миколаич,— отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству,— вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.

— А вот я читал в книжке,— начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом,— что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладин...

— Вы не извольте махать, она хуже,— сказал старичок,— а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно: но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в средине рассуждения.

— Оно точно, батюшка Митрий Миколаич,— сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина,— точно в книжке пишут. Да, может, это так, дурно писано,— что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть,— прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам,— вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит,

а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше,— говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина.— Вот нынче она с калошкой идет; нынче день теплый, все видать,— прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника; пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.

— А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке.

— Что бог дал,— отвечал Дутлов, посмеиваясь,— считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел,— продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора,— об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.

— Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.

— Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает,— говорил старик, не замечая ужимок барина.

— Хорошо, после, сейчас...— проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

— Землей потереть: оно ничего,— сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

XVI

— Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство,— сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина.

— Что?

— Да вот лошадками, слава те господи, мы исправны и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

— Так что ж?

— Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

— Куда ж они пойдут?

— Да как придется,— вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу.— Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой,— сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме.— Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

— Когда не выгоднее, ваше сиятельство! — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами,— дома-то лошадей кормить нечем.

— Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

— Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублев денег привез.

— Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было,— сказал барин, снова обращаясь к старику,— но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может,— прибавил он, повторяя слова Карпа.

— Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? — возразил старик с своей кроткой улыбкой.— Съездишь хорошо — и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, окроме доброго.

— Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей и лугами...

— Как можно, ваше сиятельство! — подхватил Илюшка с одушевлением,— уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

— А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть,— сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла, и, улыбаясь, спросил:

— Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.

Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

— Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю,— сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать, бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь,— подумал Нехлюдов,— отчего ж мне не сделать

предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.

— Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете? — сказал старик.

— Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу,— вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов.— Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

— Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? — перебил он барина.

— Да ведь небольшую рощу, рублей в двести,— заметил Нехлюдов.

Старик сердито усмехнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего бы не купить,— сказал он.

— Разве у тебя уж этих денег нет? — с упреком сказал барин.

— Ох, батюшка ваше сиятельство! — отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери,— только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.

— Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? — настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Може, злые люди про меня сказали,— заговорил он дрожащим голосом,— так, верите богу,— говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе,— что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, окроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо,— вы сами изволите знать: избу поставили.

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал барин, вставая с лавки.— Прощайте, хозяева.

XVIII

«Боже мой! боже мой! — думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге,— неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой;

тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно-волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило *не то* и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило *не то* и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением,— мысль, что любовь и добро есть истина и счастие, и одна истина и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило *не то;* он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину.— Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил,— говорил он сам себе.— Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастие!» — твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это *то,* он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторг-

га. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым»,— думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность — у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный труд представляется ему — «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастия, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого,— в то же время думал он,— кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно це-

лую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы». . . . .
. . . .

XIX

«Где эти мечты? — думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому.— Вот уже больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастие, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни»,— подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе пред-

ставлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и несомненно вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире — к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге,— подумал Нехлюдов про своего друга,— а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький, открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспоря-

док составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

— Что, завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

— Нет, не хочется, няня,— сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

— Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет — ей-богу...

— Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

— Да как не скучать, разве я не вижу? — с жаром начала говорить няня,— день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям; а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду,— продолжала няня, садясь около двери,— ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала...— усовещивала его няня.

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял вообра-

жением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это»,— думает он и шепчет: «Странно!» — продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело; и он

видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

— А-а-ай! — громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп, с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издалече ли? и много ли ужинать будут?», с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с бе-

лыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше — и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами,— и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» — шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему.

1856

ТРИ СМЕРТИ

Рассказ

I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка поморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно об-

тягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять,— сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии.— Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! — Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это? — спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски,— не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое,— отвечала больная.— Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать,— слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет,— прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции.— Им хорошо, так и все равно. О! боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович,— сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки,— я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно,— отвечал доктор.

— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил: она не может доехать не только до Италии,— до Москвы дай бог. Особенно по этой погоде.

— Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой! — Муж закрыл глаза рукою.— Подай сюда,— прибавил он человеку, вносившему погребец.

— Оставаться надо было,— пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать? — возразил муж,— ведь я употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах,— она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении — ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути,— сказал доктор, значительно покачивая головой,— а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша! — визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце,— пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову.— Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая! — поддакивала Аксюша.— Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала,— думала больная.— Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос,— подумала больная,— а сам ест!»

— Ничего! — пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда, по крайней мере, дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома? — вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду,— сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова.— Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

. . . .

II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор,— сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков,— вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить; свои избил,— отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом.— Аль спит? А дядя Хведор? — повторил он, подходя к печи.

— Чаво? — послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе.— Дай испить, брат; ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя,— сказал он, переминаясь,— тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.

— Може, ты кому пообещал уже,— сказал парень,— так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны,— неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка,— второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди садись, господа ждут,— крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега,— сказал он, подавив кашель и отдохнув немного.— Только, слышь, камень купи, как помру,— хрипя, прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вот, ребята, слышали,— мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали,— сказал один из ямщиков.— Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эк сапоги важные! дай помажу,— сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи.— Даром отдал?

— Аль завидно,— отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка.— Пущай! Эх вы, любезные! — крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали,— больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

— Ты на меня не серчай, Настасья,— проговорил больной,— скоро опростаю угол-то твой.

— Ладно, ладно, что ж, ничаво,— пробормотала Настасья.— Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

— Нутро все изныло. Бог его знает что.

— Небось и глотка болит, как кашляешь?

— Везде больно. Смерть моя пришла — вот что. Ох, ох, ох! — простонал больной.

— Ты ноги-то укрой вот так,— сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу

и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

— Чудно́ что-то я нынче во сне видела,— говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро.— Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликался.

— И то, не помер ли? Пойти посмотреть,— сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойти смотрителю сказать, кажись, помер,— сказал ямщик.

Родных у Федора не было — он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стоял муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка —

мать больной — и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вами, мой друг,— говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери,— она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же.— Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь, кажется, я не заплакана,— сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.

— Боже мой! Боже мой! — сказал муж.

— Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились.

— И матушка тут! — почти с отчаяньем сказал муж.— Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

— Точно-с, материнское сердце никто оценить не может,— сказал он,— однако бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

— Бог милосерд,— продолжал священник, когда она успокоилась немного.— Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу — можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жить,— проговорила старушка,— чем бы меня, а ее бог берет.— И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

— Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.

— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

— Это она будто бы вороная, папаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

— Ах, мой друг,— сказала она, неожиданно перебивая ее,— не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть,— даже наверно,— была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страданья...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись,— сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласья.

— Боже! прости меня, грешную,— прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах.

Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Чрез пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оне спокойнее теперь,— сказал он,— желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг,— сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю,— говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах.— Как бог милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу,— сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать!..— И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня,— говорила больная,— это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются,— гласил псалтырь,— возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво.

Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

— А грех тебе будет, Серега,— говорила раз кухарка на станции,— коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить, не купишь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь,— отвечал Серега,— я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хошь крест поставил, вот что,— отозвался старый ямщик,— а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь!

— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычай-

но затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнуло макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым поникшим деревом.

1858

КАЗАКИ

Кавказская повесть
1852 года

I

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых

окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней.— И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий.— Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней,— обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват,— отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь,— продолжает отъезжающий.— Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно,— подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит

отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля.— Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой.— Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон.— Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь,— сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду,— продолжал он.— Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом.— С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его,— жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да,— отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйте, свечи тушить приказано,— сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же.— Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной,— сказал высокий.—Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому.— Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо,— сказал высокий, надевая перчатки.— Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем»,— и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин,— сказал один из провожавших.— Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю»,— и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы,

стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* — когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа»,— думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь насколь-

ко, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнию, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке,— на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность,— не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная, за что, не зная, зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то,— что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастие.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завер-

нулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле? — представился ему вопрос.— Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то,* и точно, вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам? — думал он.— Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостию остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они? — он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублях, которые он остался должен портному,— и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, боже мой, боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь

отогнать несносную мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила,— думает он о девушке, про которую шла речь при прощанье.— Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье»,— вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа,— подумал он,— и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей-управляющий очень был бы озадачен, что я на *ты* с таким господином, как Сашка Б***, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек»,— думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится,— где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка,— и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколь-

ко останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $^7/_{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на $^1/_8$ всего состояния,— и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога *она*, дожидающаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усвоивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris» [1], например, должно ей понравиться. Она может и говорить

[1] «Собор Парижской богоматери» *(фр.)*.

по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезать из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет,— говорит он сам себе.— Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое — те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество,— приходило ему иногда в голову.— А эти люди, которых я здесь вижу,— *не люди*, никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскимизнакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чув-

ствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих,— больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых»,— и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил,— и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздуш-

ную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы,— отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю,— сказал Ванюша,— вот хорошо-то! Дóма не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось»,— как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...

IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, по-

стоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину бóльшая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков [1], зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тереком — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки,

---

[1] волков. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считают себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак бо́льшую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он *гуляет*. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который

при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу,— река; с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-

то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все, ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечками, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется длиннее и выше всех других дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится

пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «Выше подними, срамница», — и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *сапетке*[1] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча,

[1] наметка. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка,— кричит мать,— чувяки-то[1] все истоптала». Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*[2] и обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда заслышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

---

[1] Чувяки — обувь. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет,— говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают,— говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава богу,— говорит хорунжиха.— Урван — одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют,— говорит Лукашкина мать,— только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много,— замечает Лукашкина мать и качает головой,— твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет,— говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем,— говорит Лукашкина мать.— Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Иляс! — гордо говорит хорунжиха,— со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо,— прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Краля девка, работница девка,— думает она, глядя на красавицу.— Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка *Урван,* про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурясь поглядывал то на даль за Тереком, то вниз на товарищей-казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мир-

ного аула за движущимися фигурами издалека видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков* [1] с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал* [2] от полкового командира казак с *цидулкой* [3], в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность,— на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой-казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо, мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость мо-

---

[1] **Абреком** называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] **Прибегал** — значит на казачьем наречье — приезжал верхом. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] **Цидулой** называется циркуляр, рассылаемый по постам. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

лодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был *собран* в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежа его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все взглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть,— сказал Лукашка, посмеиваясь,— то-то бы переполошились!

— Не донесет.

— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу[1] пить,— сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою

---

[1] Татарское пиво из пшена. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поршни*[1] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо *кобылку*[2] и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинтой,* приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб вó тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется,— сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*[3],— подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

---

[1] Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] Посидеть — значит караулить зверя. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть. Посижу,*— отозвался старик к великому удовольствию всех казаков.— А свиней видали?

— Легко ли! Свиней смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину.— Тут абреков ловить, а не свиней, надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик.— Не, не слыхал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси,— прибавил он.

— Ты что ж, *посидеть,* что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночку *посидеть,*— отвечал дядя Ерошка,— може, к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку.— Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду говорю,— прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху.— Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький, видно,— сказал Лукашка.— У самой у канавы, дядя,— прибавил он серьезно, встряхивая головой.— Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет...* [1] Да я тебе покажу, дядя, кое место,— недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику,— пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя.— Твои часы, что ли, Гурка? Иди!

---

[1] Лопнет — выстрелит на казачьем языке. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

И то, ловок стал Лукашка твой,— прибавил урядник, обращаясь к старику.— Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки.— Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка замолкая.— Где петуха-то взял? Должно, мой пружок... [1]

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей. Должно, твой.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

— Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

— Будет с него.

---

[1] Силки, которые ставят для ловли фазанов. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Боюсь я их резать,— сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха.— Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в *секрет* пошлет черт-то,— прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника.— Фомушкина за чихирем услал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу,— продолжал Назарка.— Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Вó нашел о чем толковать! — сказал Лукашка, видимо, думая о другом — дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты...

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет,— вдруг сказал Назарка.

— А черт с ней! — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь.— Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

— А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

— Вот ты черт какой! — сказал Назарка.— Ты бы

к Марьянке хорунжиной подъехал. Что, она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

— Что Марьянка! все одно! — сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

— То-то шомпол будет,— сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в *секрет*.

— Кому ж нынче идти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому идти? — отозвался урядник.— Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил,— сказал он не совсем уверенно.— Идите вы, что ли? Ты да Назар,— обратился он к Луке,— да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпаешься, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите,— сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо, мало надеясь на послушание казаков.— Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, идти надо,— говорил Ергушов,— порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята,— загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса,— вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней *сидеть* буду.

VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь, что ль, *сидеть?* — сказал Назарка.

— А то чего ж! — сказал Лукашка,— садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно,— сказал Ергушов,— тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот тут недалече, дядя,— сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика,— я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван,— так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

— Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос,— отвечал старик,— *карга* за канавой в *котлубани*[1] будет,— прибавил он.— Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево — на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом.

---

[1] Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

«Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь»,— подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновенье от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее,— сказал он.— Проводил?

— Указал,— отвечал Лукашка, расстилая бурку.— А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул,— сказал Ергушов, завертываясь в бурку.— Я теперь засну,— прибавил он,— ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу,— ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и бóльшая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху

коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самою головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла бо́льшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *душенька,* как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить»,— подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на

черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану»,— думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек»,— подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: «Отцу и сыну»,— пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновенье осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по теченью, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, черт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука.— Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка,— кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающею карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторили казаки.

— Абреки! сказывают тебе,— повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги.— Человек плыл...— сказал он, указывая на отмель.— Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то,— повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот, гляди! Гляди сюда,— сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю,— сказал он тихо и стал осматривать ружье.— Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов,— сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам,— сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лазяй, говорят,— проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья.— Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорил Назарка,— да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут,— сказал Ергушов, поднимаясь,— ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись,— проговорил Ергушов,— а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю,— проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей,— послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя,— сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ка сюда! Во! В портках синих, ружье, никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика.— Джигита убил,— сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услыхал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно, издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик.— Далече, брат, теперь...— И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу.

— Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука.

— Молодец, Лука! Тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет,— кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми,— прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкой, должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая.— Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее,— сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого.— Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три *монета* дам. Вишь, оно и с свищом,— прибавил он, пуская дух в дуло,— так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, черт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун,— хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить,— сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу,— сказал Лукашка, видимо, уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята,— обратился урядник к казакам, все осматривая ружье.— Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

— Еще не жарко,— сказал кто-то.

— А чакалка изорвет? Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

— Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь,— прибавил урядник весело.

— Уж как водится,— подхватили казаки.— Вишь, счастье бог дал: ничего не видамши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой,— говорил Лука.— Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за *монет*. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю,— сказал Лука,— сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь,— сказал Назарка.

Казаки загрохотали.

— Будет вам смеяться,— повторил урядник,— оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

— Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги! — проговорил он,— не пропадет, хозяева узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежевыбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растя-

нутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо, любуясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал,— отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— А я к Ямке зайду,— погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне,— отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

X

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась

каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями не виданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночною жизнью желтоватого лица — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно,— сказал Ванюша,— а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься.— Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро.— Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил?

— Да ведь я их местоположения не знаю,— обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то *кригу* [1], говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи! — отвечал Ванюша, хватаясь за голову.— Как тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошел»! Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворне?— сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте,— сказал Ванюша, видимо, озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? А, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич,— отвечал Оленин, продолжая улыбаться.— Дай вот я пойду к хо-

---

[1] Кригой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

заевам, посмотри — все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидал в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. «Да еще много таких будет»,— вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел...— начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!..— пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин.— Татарин благороднее»,— и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время, как он выходил, Марьяна, как была, в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она»,— подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая,— сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся,— ровно кобылка табунная! *Лафам!* [1] — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI

Ввечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три *монета* в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противо-

---

[1] От *франц.* La femme! — Женщина!

положного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы,— в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку.— Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дядя Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы.— Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо, сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему — Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек,— сказал он, приподнимая над коротко обстриженною головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек,— отвечал Оленин.— Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей,— сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди.— Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал,— отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки.— Али ты не видывал? — спросил он.— Коли хочешь, возьми себе парочку. Ну! — И он подал в окно двух фазанов.— А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик.— А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем,— сказал дядя Ерошка.

— Заходи,— сказал Оленин.— Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти,— сказал старик.— Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старчески-

ми, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он.— Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю,— отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой.— Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун,* спаси бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды.* Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник! — И старик засмеялся.— Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо,* по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю.* Да что, отец мой, чихирю-то вели поднесть. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик.— Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то, Иван, Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда!

— Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик.— Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ,— продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел,— они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хоть ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

XII

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие,— сказал он, решившись быть особенно кротким.— Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные,— сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными.— Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше,— прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им,— сказала бабука Улита, обращаясь к дочери.— Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой,— проговорил он и высунулся в окно.— Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он.— Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник,— прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина.— Я молодец, я шутник,— прибавил он.— Королева девка? А?

— Красавица,— сказал Оленин.— Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик.— Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь! — сказал Оленин.— Ведь это грех!

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик.— На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спáсенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы,

кабы такую девку увидали. *«Ла филь ком се тре бье*[1], для разнообразия,— думал он,— скажу теперь барину».

— Что зазастил-то, черт! — вдруг крикнула девка.— Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай,— сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые,— убедительно отвечал Ванюша.— Мы такие добрые, что, где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут,— поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит — еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает,— гордо объяснил Ванюша.— Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру,— прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*[2],— и тотчас же с глупым хохотом ушел.

---

[1] Эта девушка очень хороша *(искаж. фр.)*.
[2] Девушка очень красивая *(искаж. фр.)*.

XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали.

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест вышлют.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то!

— Сказывали, пришел Лукашка-то,— сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то.— Прямо, что Урван! Да что! малый хорош! Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут, никак,— продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице.— Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете? — крикнул он на девок.— Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — послышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба.— Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку.

— Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка.— Мы с кордона *помолить*[1] пришли. Вот Лукашку *помолили.*

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра,— степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший,— сказал казак,— я рад, сейчас говорил.

— И я говорю,— подхватил пьяный Ергушов, смеясь. Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата.— Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали,— сказала одна из казачек.— Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка.— Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не

---

[1] Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья; вообще употребляется в смысле выпить. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить,— сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну смола,— запищала девка,— бабе скажу!

— Говори! — закричал он.— И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно.— И он принялся обнимать другую девку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, черт тебя принес с кордону! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху.— Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть,— вмешалась за Марьяну старуха,— а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать! — сказала она.— И каку черную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку строить будут,— сказала одна девка.

— А мне сказывали,— промолвил Назарка, подходя к Устеньке,— яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят.— И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку,— сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще,— кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит! — кричала она, смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плече шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди,— проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка.— Ровно уставщики длиннополые,— и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили,— сказала она.

— Что он, старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала,— отвечала девка.— За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза,

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек,— прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери,— сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу,— сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано,— вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел,— прошептал Лукашка,— ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А нянюка! Мамука ужинать вовет,— прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду,— отвечала девка,— ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,— сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха,— думал он про Марьяну,— и не пошутит, черт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой,— сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

— Что я тебе сказать хотел... ей-богу!..— Голос его дрожал и прерывался.

— Каки разговоры нашел по ночам,— отвечала Марьяна.— Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай,— вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова,— отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака.— Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься,— сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка,— говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая

его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она.— Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

«Хорунжиха,— думал себе Лукашка,— замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого,* который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего *няню* [1] Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою *душеньку,* которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красно-

[1] Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, в переносном «няней» называется друг. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

речиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой,— говорил он,— не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда [1], к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник; на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам,— в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, солдат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татарином не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь,— прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!

---

[1] Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила...

— Как?

— Да так испортила...

— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.

Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.

XV

— Так о чем, бишь, я говорил? — продолжал он, припоминая.— Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб,— все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду,— уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик[1] сделаю и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся, или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это

[1] Лопазик — называется место для сиденья на столбах или деревьях. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его или так только, испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя ходит. А то раз сидел я на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе: сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит»,— и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь божия. Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он.— Куда летишь?

Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много,— приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.— Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и белом *курпее* на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина, в белом платке, прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела»,— казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись.— Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него.— Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян,— сказал он, вставая.— Завтра на охоту приходить?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспишь — штраф.

— Небось раньше тебя встану,— отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Бо́льшая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. *Простота* Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка

для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лёжали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадушке с грязною, вонючею водой, размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма,* дядя? (то есть: дома, дядя?) — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик.— Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж? люди достаточные,— говорил он сам себе.— Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз...»

— Здорово, Марка! Я тебе рад,— весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал *выходку.*— Ловко,

что ль? — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся.— Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос,— проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой.— Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с торжественностию принимая вино.— Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога,— сказал он гордо.— Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой,— сказал старик,— ружья не дашь — награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку? [1] А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а, бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

— Эх! мы не тужили,— сказал старик,— когда дядя Ерошка в твои годы был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

---

[1] Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик.— Нельзя,— на то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка.— Не такие мы, видно, люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака.— Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерошка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пешкеш,* свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют,— презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю,— сказал Лукашка.— Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить? — сказал Лука,— ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть,— молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуитя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуитя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуитя живучи в Сиони,
Се царь твой.
Мы сядем на кони.
Софоние вопие,
Захарие глаголе.
Отче Мандрыче
Человеко-веко-любче.

Веко-веко-любче,— повторил старик.— Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може, так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав,— и старик сам засмеялся.— А ты в Ногаи, Лука, не езди, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Вовсе светло, дядя,— перебил он его.— Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

XVII

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукаша, нагулялся? — сказала мать тихо.— Где был ночь-то?

— В станице был,— неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и идти надо,— отвечал Лукашка, увязывая порох.— А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови,— сказал Лукашка.— Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки.

Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде, и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! Молодец, Степка! — отвечал брат, кивая головой.— Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — И, достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрей стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила намедни, что сватать пришлю,— сказала мать,— приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

— Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю,— сказала мать, видимо, не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела.— Ты как пойдешь,— сказала старуха сыну,— так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в *саквы*[1] положить?

---

[1] Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Ладно,— отвечал Лукашка.— А коли из-за реки Гирей-хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? — сказала старуха.— То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка,— сказал он матери, припирая за собой ворота.— Ты бочонок с Назаркой пришли,— ребятам обещался; он зайдет.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю,— отвечала старуха, подходя к забору.— Да слушай что,— прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить, и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

XVIII

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак, и перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал,

и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом.— Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик.— Так-то у нас, добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку.— Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?*[1] — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по-нашему лопочешь, черт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается,— шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

— Прощается для первого раза,— отвечал Ерошка,— а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас,— сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером,— его не обманешь.

— Да, ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет,— сказал Ерошка, глядевший в окно.— Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан*[2],— сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед за тем сам хорунжий, в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищеных сапогах — редкость у

[1] Хотите чаю? *(фр.)*
[2] Деньги *(фр.)*.

казаков,— с улыбкой на лице, раскачиваясь вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак *образованный,* побывавший в России, школьный учитель и, главное, *благородный.* Он хотел казаться *благородным;* но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! — сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

— Это наш *Нимврод египетский,*— сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика.— *Ловец пред господином.* Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: *«Нимрод гицкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим идти,— сказал Оленин.

— Так-с точно,— заметил хорунжий.— А у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть благородный человек,— начал хорунжий,— и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов,— а задаром я всегда, как

благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит,— пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду,— сказал он,— мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, *особливый,*— отвечал хорунжий и вышел на крыльцо.— Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый,* Ерошке в *мирской* стакан.

— Однако не желаю вас задерживать,— сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан.— Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекриации от должности. Тоже имею желание испытать счастие, не попадутся ли и на мою долю *дары Терека.* Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить *родительского,* по нашему станичному обычаю,— прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же,— сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана.— Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь,— сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик.— Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердишься на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю,— отвечал старик.— Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит,— сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покла́нялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась,— сказал Оленин.

— Хвастаешь,— крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу! — сказал Оленин.

— Баба черт,— раздумывая, сказал Ерошка.— А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть.— Ерошка захохотал.— Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, *шутю.* Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало — жила она высоко; мать ведьма была, черт, страсть не любила меня,— приду, бывало, с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул; так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе и винограду, всего натащит,— прибавил Ерошка, объяснявший все практически.— Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу,— сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он.— Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу»,— и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну, что за вздор! — сказал Оленин.— Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! Теперь молчи,— опять шепотом прервал старик этот разговор,— только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

XIX

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в ред-

кие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил,— прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку.— Мурло-то закрой: фазан,— он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках,— мурла человечьего не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух *тордокнул* с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

— Молодец! — смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! Сюда пойдем,— перебил его старик,— вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами зали-

тую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее.— Человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Купером Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след,— просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу, к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был,— вздохнув, сказал старик,— видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль,— проговорил он. И, отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду.— Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду.— Дурак! Свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазяя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон

комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькующей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер теплоокровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них та-

кой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть»,— жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше.— Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастия. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества — все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он.— Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастия!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие — вот что,— сказал он сам себе,— счастие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастия; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего

для себя не нужно,— все думал он,— отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами дерев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось — и погода, и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя,— думал он,— когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнию. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то не-

веселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурным мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженною и выкрашенною красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных зву-

ков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев,— рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке,— вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит,— говорил лазутчик, указывая на чеченца.— Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах,— отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье.— Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо, гордясь этим знакомством.— Кунак мне.

— Сосед мне,— отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо, очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитою двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше благородие»,— и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вы-

тянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту,— в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника.— Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник,— отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им,— обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Всё одна хурда-мурда,— сказал лазутчик, видимо, обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, перенося весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше,

голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством.— Разве хорошо?

Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так, привык,— отвечал Оленин,— а что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то,— сказал Лукашка, указывая в ущелье,— а не доедешь!.. Как же вы домой один пойдете: темно. Я вас провожу, коли хотите,— сказал Лукашка,— вы попросите у урядника.

«Какой молодец»,— подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он.— Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат,— сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке.— Слыхал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушел,— сказал Лукашка, смеясь.

— Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке.— Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну,— думал себе Оленин,— а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один пойду.

— Ничего! А мне что ж делать? Как вам не бояться? И мы боимся,— сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать,— засмеялся Лукашка,— да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди...— И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься — правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты нестроевой?

— Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

— А сколько конь стоит?

— Торговали намедни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю,— вдруг сказал Оленин.— Право. У меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь, сказал Лукашка.— Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты? — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что, у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса,— рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь.— Вот вы где заплутались,— прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили,— вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте,— отвечал Оленин,— хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче,— сказал Лука.— Ишь чакалки воют,— прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка.— Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и

холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо,— сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все это счастие и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной — не ту, на которой он ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка.— Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит,— отвечал Оленин,— возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит,— говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, недуманно-негаданно... Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.

— Бог даст, и я вам отслужу,— сказал он, допивая вино.— Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Митрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки

будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а всё кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.

— Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу,— понизив голос, сказал Лукашка,— коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан ильньяпа* [1], и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

---

[1] денег нет *(искаж. фр.)*.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хоть конь и не хорош был по его мнению, однако стоил, по крайней мере, сорок *монетов*, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок *монетов,* ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка.— Конь-то у меня, а там видно будет! Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к *простоте* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит,— говорил один.— Богач!

— Слыхал,— отвечал другой глубокомысленно.— Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий,— как раз подожжет или что.

XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на ученье его не посылали. За

экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове,— бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. Назавтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за

беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха, он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, mon cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами.— Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек,— говорил Белецкий не умолкая.— За экспедицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев: доброе, глупое существо...

он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

XXIV

Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь.) Хозяйка

была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клети доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлепью* на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клети и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волосы его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клети; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Се пре*!» [1] — отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доенья.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не сбирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору.

---

[1] Готово! *(фр.)*

Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень,— он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под ее стянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку.— Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится,— проговорил ей вслед Белецкий,— вас стыдится,— и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте,— сказал он,— живете в одном доме... и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин,— сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно,— отвечал Оленин,— но отчего мне не говорить то, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. A la guerre, comme à la guerre! [1]

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться,— отвечал Оленин.— Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови.

— Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий.— Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

---

[1] На войне — как на войне! *(фр.)*

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть,— сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

— Едва ли! Мне говорили, что восьмая рота пойдет,— сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал, а слыхал, что Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика,— сказал Белецкий, смеясь.— Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно,— думал он.— Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные

тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Les trois mousquetaires» [1].

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит?

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты послышался звонкий хохот.

Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну, ты! Вот тарелки разобью,— завизжала она на Белецкого.— Ты бы шел подсоблять,— прокричала она, смеясь, на Оленина.— Да *закусок-то* [2] девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же! Она теста принесла.

— Вы знаете ли,— сказал Белецкий,— что, ежели бы одеть эту Устеньку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая dignité! [3] Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне — лучше этого наряда ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! —

---

[1] «Три мушкетера» *(фр.)*.

[2] Закусками называются пряники и конфеты. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] осанка! *(фр.)*

сказал Белецкий, весело вздыхая.— Пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат. Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все,— сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали,— сказал он.

Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Просим покорно моего ангела *помолить,*— сказала Устенька, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно,— сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев *гулявших*, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег,— думал он.— Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь! — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянув на него, и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицей в станице. Устенька была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечною улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не *хо-*

рошенькая, но *красавица.* Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное — ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками,— все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставлял девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre*, и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжелее и тяжелее. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенька должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу,— сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги,— сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить,— подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость.— Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-казацки»,— и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себя стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенька поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем,— сказала она, встряхивая на тарелке четыре *монета,* которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем,— сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно,— подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку.— Нет, ты поднеси,— настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне.— Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица девка,— повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу, и все,— отвечала она, вздергивая нижнею губой и бровью.— Он дедушка,— прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее.— Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь,— сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отоприте! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали.— И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А если б я к вам ходил?..— сказал он нечаянно.

— Другое бы было,— проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастие: кто счастлив, тот и прав»,— мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенькина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

XXVI

«Да,— думал Оленин, возвращаясь домой,— стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, под-

жав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движения, пощелкиванье семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частию весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг заслышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его,— и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостию.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет

бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев,— думал он,— люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке,— только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке,— и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде,— быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтобы он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастие,— его удерживала мысль о том, что счастие состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастия и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастие.

XXVII

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой! Уж и конь! Кабардинский лов-тавро [1]. Я охотник.

Они осмотрели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с глянцевитою шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою, породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его *только спать ложись,* как выразился Лукашка. Копыты, глаз, оскал — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

— А езда-то,— говорил Лукашка, трепля его по шее.— Проезд какой! А умный! Так и бегает за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал,— улыбаясь, отвечал Лукашка.— От кунака достал.

— Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее? — спросил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам,— сказал Лукашка весело.— Только скажите, отдам. Расседлаю, и бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешкеш* привез,— и Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне.— За рекой достал.

— Ну, спасибо.

— А виноград матушка обещала сама принесть.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

— Как можно,— кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан привел в саклю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Тереком. Нынче еду с Назаром, с товарищем.

---

[1] Тавро завода кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на службу,— неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитуя, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка.— На, веди к ней коня, а коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру все в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал,— сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.

— Это я,— прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услыхала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи,— проговорил Лукашка.— Пусти меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое? Сказано, не пущу. Что ж, надолго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько,— сказал Лукашка.

— Марьянушка! — послышался голос старухи.— С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не приметили его, и присел под окно.

— Иди скорей,— прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил,— отвечала она матери,— батяку спрашивал.

— Что ж, пошли его сюда.

— Ушел, говорит, некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке.

— Ведь не пустила,— сказал он.

— О! — отозвался Назарка.— Я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывала: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкиря флинту за Марьянку взял.

— Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка,— не такая девка. А то я ему, старому черту, бока-то отомну.— И он запел свою любимую песню:

Из села было Измайлова,
Из любимого садочка сударева,
Там ясен сокол из садичка вылетывал,
За ним скоро выезживал млад охотничек.
Манил он ясного сокола на праву руку.
Ответ держит ясен сокол:
«Не умел ты меня держать в золотой клетке
И на правой руке не умел держать,
Теперь я полечу на сине море;
Убью я себе белого лебедя,
Наклююся я мяса сладкого, «лебедикого».

XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменилось в это по-

следнее время,— писал Оленин,— и дошел до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свежевал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину — кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой,— сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному; ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал,— сказал он так же тихо.— Я мастер играть: татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно.— Ну, обидели тебя — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню с приплясокою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?
На базаре в лавке,
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,
Весь овторник прострадал.
В середу в любви открылся,
В четверток ответу ждал.
В пятницу пришло решенье,
Чтоб не ждать мне утешенья.
А во светлую субботу
Жисть окончить предприняп;
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,
Алой лентой перевью,
Надеженькой назову.
Надеженька ты моя,
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты, мое времечко, не воротишься,— всхлипывая, проговорил он и замолк.— Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай! далалай!» Ерошка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай, дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» — и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из *избушки* в сени. Несколько каза-

ков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, бог с ними! — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели.— Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу,— сказал старик шепотом.— А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив»,— думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

XXIX

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревах были покрыты пылью; дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча, днем убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и

станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, ве́рхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками *мамуки* вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха мать,

засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и туговых деревьев. Хорунжий, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом* край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся,— отвечала старуха,— только бы погода не задержала. Демкины еще половины не убрали,— прибавила она.— Одна Устенька работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— Нá, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке.— Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть,— сказала старуха.

— Дело впереди,— сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говоришь? — сказала старуха.— Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай,— опять сказал хорунжий.— Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха.— Что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче,— сказал хорунжий,— говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово,— подтвердила старуха.

Все семейство было весело и довольно.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная *сорочка,* то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаха; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодною водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенька, укладываясь под арбой.— Стой,— сказала она, вскакивая,— так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом.

— Ты пусти,— закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу,— разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец,— приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась,— отвечала Марьяна, отбиваясь.— Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенька.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенька не унималась:

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю.

— Нечего знать,— отвечала Марьяна.

— Ах ты, плут-девка! — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь.— Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться,— говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение.— Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! Первый джигит. Все и в сотне гуляет. Намеднись приезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А все, чай, по тебе скучает. А еще что он говорил? — спросила Марьяну Устенька.

— Все тебе знать надо,— засмеялась Марьяна.— Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень,— серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит,— гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она, запыхавшись,— счастья себе не хочешь,— и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех.— Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись,— послышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь,— повторила Устенька шепотом и привставая.— А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой *дедушка* — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то,— проговорила она, перекусывая травинку.— Говорит: я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врет, что на ум взбрело,— отвечала Устенька.— Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал,— проговорила она, помолчав немного, и заснула.

XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толканула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил ни одного не нашел,— говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся,— сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы,— весело сказала старуха.— Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят *монетов* Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать,— сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам,— сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость,— сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи,— в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин.— Я схожу,— и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтобы освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь,— сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?
— А тебе что?
— Мне завидно.
— Легко ли!
— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...
— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать,— думал он,— когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать»,— думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех.— Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.

XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь

в хозяйской *избушке* и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать, слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевели-

лась щеколда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновенье при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка, ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину.— Я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо, нарочно.

— Вишь, ловкий *юнкирь* какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда! — Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате.— Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать...— сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!..

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было, да все равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться,— смеясь, сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки — приготовить место для краденой лошади — и, проходя домой по улице, заслышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять *монетов*. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся

себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соболезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастие стать мужем графини Б***, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и пони-

мать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,— мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света»,— воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастия, которого я недостоин.

Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостию в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества

и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать?

В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я? и зачем я? Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. Восемнадцатого числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящею любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я

испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастию. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнию. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастия. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильней меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».

XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка,— сказала мать.

— Не, я простоголовая.— И она вскочила на печь.

Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы,— отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете.— Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно: Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался,— сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал,— сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает,— вдруг сказала Марьяна.— На свои деньги гуляет,— и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенькой.

— Здорово дневали? — пропищала Устенька.— Все гуляешь? — обратилась Устенька к Оленину.

— Да, гуляю,— отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжеле становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в *избушке*. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату: Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он.— Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь, вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе.— «Что же это я говорю? — подумал он в то

самое время, как выговаривал эти слова.— Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю»,— ответил ему внутренний голос.— Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! Я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю.— И безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь,— прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами.— Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она, смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами,— больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Прохо-

дл мимо их, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята, в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостию восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплевывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно, беломатовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидать Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалине с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого: «Заходите»,— и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка,— говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь.— И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна.— Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устеньке. Надо им бал задать.

— И я приду к Устеньке,— сказал Оленин решительно.— Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, нисколько не удивляясь.— А ведь очень красиво,— прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным.— На таких праздниках,— прибавил он,— меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да,— сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений.— А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан.

— *Алла бирды*,— сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— *Сау бул* (будь здоров),— сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан.— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно.— Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымется. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут, бывало, казаки или верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны!

XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцеви-

тою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь,— отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь,— проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, черт, все знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным, заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь.— Состарились без меня, ведьмы.— И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! Здорово, батяка! — послышались веселые голоса.— Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночку погулять прилетели,— отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем,— пропищала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостию. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитуя между девок. Он нагнулся к Марьяне.— Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь,— сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устеньке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую,— сказал он, передавая узелок Устеньке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди.— Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем,— сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у соседнего двора и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора.— Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседлывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала,— сказала старуха,— а Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку поди, матушка. Ко мне Назарка придет, *праздник помолим.*

— Сейчас, Лукаша, сейчас,— отвечала старуха.— Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И, захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку.*

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

XXXVII

— Будь здоров,— говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то,— сказал Назарка,— дедука Бурлак что сказал: «Много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко ответил Лукашка.— Да это что? — прибавил он, встряхнув головой.— Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно? Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово.— На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

— Давай еще полведра! — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, черт, где украл? — прокричал дядя Ерошка.— Молодец! Люблю!

— То-то люблю! — отвечал, смеясь, Лукашка.— Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! (Старик расхохотался.) Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю,— поддакивал он.

— Поехали мы с Гирейкой,— рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

— Дураки,— сказал дядя Ерошка.— Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногайки-бабы, пра!

— Да, поймали,— обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали; опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажет, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел,— сказал дядя Ерошка.

— И я говорю,— подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился! Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земи... Выскакал впе-

ред, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить. Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

— Я говорю: ловко! А много ль?

— Все тут,— сказал Лукашка, хлопая по карману. Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали...— начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь! — сказал Лукашка.— А я пойду.— И, допив вино из чапурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

XXXVIII

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесику, лесу темного,
　　Ай-да-люли!
Из-за садику, саду зеленого
Вот и шли-прошли два молодца,
Два молодца, да оба холосты.
Они шли-прошли да становилися,
Они становилися, разбранилися.
Выходила к ним красна девица,
Выходила к ним, говорила им:
Вот кому-нибудь из вас достануся.
Доставалася да парню белому,

Парню белому, белокурому.
Он бере, берет за праву руку.
Он веде, ведет да вдоль по кругу.
Всем товарищам порасхвастался:
«Какова, братцы, хозяюшка!»

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенькая Устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали,— говорил Белецкий,— я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устеньке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он подошел к Устеньке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели:

Как за садом, за садом
Ходил, гулял молодец
Вдоль улицы в конец.
Он во первый раз иде,
Машет правою рукой,
Во другой он раз иде,
Машет шляпой пуховой,

А во третий раз иде,
Останавливатся,
Останавливатся, переправливатся.
«Я хотел к тебе пойти,
Тебе, милой, попенять:
Отчего же, моя милая,
Ты нейдешь во сад гулять?
Али ты, моя милая,
Мною чванишься?
Опосля, моя милая,
Успокоишься.
Зашлю сватать,
Буду сватать.
Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня».
Уж я знала, что сказать,
И не смела отвечать.
Я не смела отвечать,
Выходила в сад гулять.
Прихожу я в зелен сад,
Дружку кланялась.
«А я, девица, поклон,
И платочек из рук вон.
Изволь, милая, принять,
Во белые руки взять.
Во белы руки бери,
Меня, девица, люби.
Я не знаю, как мне быть,
Чем мне милую дарить,
Подарю своей милой
Большой шалевой платок.
Я за этот за платок
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посредине хоровода.

— Что же, выходи какая! — проговорил он.

Девки толкали Марьянку; она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да,— решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

— Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки придут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней.— Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал,— сказал Оленин, нагибаясь к ее уху.— Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу,— ответила она,— нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «Приходи же к Устеньке»,— отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток»,— говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движенье и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок *закусками*.

— На всех жертвую,— говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством.—А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон,— прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке,— *мною чванишься?* — еще повторил он сердито.— *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,*— прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну.

Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят,— отвечала Устенька,— а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька,— сказал он,— последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду,— сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно,— сказала Марьяна,— там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет,— укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой.— *Будешь плакать от меня,*— и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — Играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка.— Помни ж! — Он подошел к лавке.— Девки! — крикнул он,— что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут,— отвечал Белецкий.— Пойдемте, надо приготовить бал.

XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина

билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному; он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну тебя! Увидит кто! — сказала Устенька.

— Ничего.

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались,— сказала Устенька.— Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь,— отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога!

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки.— Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак,— сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастия. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна,

говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да,— говорил он сам себе,— только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

XL

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостию вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее,— говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут,— кричал Лукашка,— в средние ворота ехать надо.

— И то, оттуда ближе,— говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.

Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник,

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и *молили* свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что

солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий — и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра *лошадь,* а не *конь,* это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь,— подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо, робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обра-

довались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— *Ай, ай, коп абрек!* — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед.

— Вон конный едет,— сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька, никак,— сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно.— Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

XLI

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит,— сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич,— сказал он.— Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном,— сказал Лука,— а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы,— их было девять человек,— сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-лай* дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они свя-

зались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновенье, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороной. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стрижеными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выраже-

ние. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! *Ана сени!* — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно: Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он,— а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! Я пришел...

— Оставь,— сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестким голосом.— Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо!

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори,— умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

XLII

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было *не то*. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой,— говорил дядя Ерошка.— Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то все, как ваш брат оробеет, так к народу и жмется: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит,— сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

— Это казаки баловались,— отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин.— Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай.— И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается,— говорил он, видимо, утешаясь этою пулькой, как игрушкой.— Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, *няню* моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить,— сказал Оленин.— Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик.— Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет,— ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то

я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *мирщился,* с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что, бишь, я говорил,— продолжал он,— ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно *холком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой.— Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся,— сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он.— Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется!

Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай,— сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю, прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две,— говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша.— Все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ,— проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь.— Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!* [1] — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

1852—1862

Поликушка

I

— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти,— говорил приказчик,— и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

---

[1] Девушка! *(фр.)*

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «Хорошо, хорошо»,— на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшегося в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых»,— говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута»,— вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович уставился спокойно, даже прислонился незаметно к притолоке, но храня на лице

подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крякнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время, как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовою речью отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думала, Егор,— прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необстоятельности, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала,— не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «доброде-

тель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов,— сказала она,— я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликея я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно быть, с горечью»,— подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сде-

лать для них. (Она взглянула на картину в угол, но вспомнила, что это не бог: «Ну да все равно, не в том дело»,— подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила,— она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуняша?

— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михалыча, прикажут ли дожидаться сходке? — сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик,— подумала она,— растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор,— сказала барыня,— делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Тятенька от поясницы лежит,— сказала Дуняша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликея пошли,— сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с,— и Егор Михайлович пошел в контору.

II

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол* у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. *Углы* еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим — взлезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепадало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине: расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепадали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку:

его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что,— все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно все достается и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за все разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставлял, и все шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, говорит, человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять»,— рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это

нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала невеселая: народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, хотя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то, что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спущать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом под брюхом дворниковой лошади передернул покромку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие, засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом,— мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю* и т. п. разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? Wage du zu irren und zu träumen! [1] — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе както раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в де-

---

[1] Дерзай заблуждаться и мечтать! *(нем.)*

ревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то, что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его, несомненно, первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это,— говорил он,— не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет»,— сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания; но, увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» — подумала она и опять принялась прясть. Бумажка, из ко орой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

— Анютка,— крикнула она,— видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

— Нате, тятенька,— сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

— Сто толкаесся,— пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

— Я вас! — проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст,— проговорил Поликей, затыкая бутылку,— вылечу лошадь. Еще дешево,— прибавил он.— Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда

жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх,* как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка — так звали девочку — всегда летала, как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались, как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня велела Поликею Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупу ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменять не станешь?

— Не,— сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плак-

сивое, покорное и глубоко несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

— Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столяровой жены из-за перегородки.

Столярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней розлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят послать,— продолжала она.— Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столяровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамуска, ты меня сплюссила,— проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

— Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столяровой жене, не забывшей еще про утренний щелок.

IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал. Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столяровой жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем звала?

— Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велела ехать.

— Деньги везть? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечанье, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит, вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу все изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублев,— небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь какую хочешь, зайди в контору и ступай с богом.

— Слава тебе, господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь.— Помоги тебе бог, Ильич,— прибавила она шепотом, чтобы не слыхали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи.— Ильич, слушай меня, Христом-богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнул он.— Уж как там в фортепьян играл кто-то ловко, беда! — прибавил он, помолчав и усмехаясь.— Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

V

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику,— думала она,— по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и нападал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик

Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна.* Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его бы сравняли с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова, но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный, был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен и со всей высоты своего роста, всею силой своего звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожи-

данными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один с добродушнейшею рожей и окладистою русою бородой, Храпков, все приговаривавший: «Друг ты мой любезный»,— и другой, маленький, с птичьею рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «Выходит, братцы мои»,— обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцевитым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был,— говорил Резун,— так и я от жеребья отказываться стану. Такого,

брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрили, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили,— в одно и то же время говорил Дутлов,— да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделились. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, побожьему, мир православный, а не так, что пьяный сбрешет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

— Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и закон,— сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православный,— говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова,— надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

— Надо по совести судить, друг ты мой любезный,— говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп,— на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный брешет? — возражал Резун.— Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решенье сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть

не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать,— заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели,— сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро он опять загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл,— смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал Резун.

— Нет, ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденой лошади, до мешка с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят»,— а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

— Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? — послышались голоса деленных, и болтуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги сосчитал, видно,— проговорил он злобно.— Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению, — продолжал Егор Михайлович,— Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти,— это уж сам бог велел.

— Так точно, верно,— сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову,— заговорили голоса,— Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Покажь сюда,— сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принесть к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик,— сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом,— на тебе черед. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать,— ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не греши,— сказал он,— а поищи-ка в подполье, авось найдешь старенких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губерни? — спросил Дутлов, под *губерней* разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришлю, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвеча-

ешь, а ежели что, избави бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно,— сказал он, помолчав,— как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай,— сказал Егор Михайлович,— ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигеря» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик езжал), запряженная ширококостным гнедым мерином, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В *угле* происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стряпню в печи и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери,— Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной ве-

ревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе — той иголок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку, и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальною иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана,— кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и *тухли,* и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Машка тоже стала просить, чтоб ее «плокатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятерился.

Погода была скверная ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже,— он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике; только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублев. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублев повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то, что у него были деньги, данные на покупки, свистнул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпряг, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рас-

сказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничего не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, шапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее и, наконец, со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублев уступил»,— сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно,— так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

VIII

Около полуночи и купцовы работники и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо, выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать,— отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке.— Посылай за водкой.

— Будет те водки-то,— отвечал староста мельком и снова обратился к другим: — Так хлебца закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай,— повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». Вдруг он увидал Поликея.

— Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты упекли. Поставь водки.

— Денег нет,— отвечал Поликей.— Еще, бог даст, затылок,— прибавил Поликей, утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился:

— Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за что погубили бабу, теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей.— То ничего не слыхать было, а то вдруг...

— Вишь, боятся, чтоб я над собой чего не сделал,— отвечал Илюшка, улыбаясь.— Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? — говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий,— сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику,— нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал: так обычно просто, мирно и озабоченно хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебая из чашки.— Видишь, люди поели, да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил,— обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнованием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Вина дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста кротко,— право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясался, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатым кулаком к Дутлову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня, Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь пьешь, кровопийца!

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром,— проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился,— встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

— Говорил, хуже будет,— сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясок рубахи,— что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк,— прибавил он, обращаясь к дворнику,— а то голова затечет,— и сам взял фонарь, подпоясался веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и

вздернутою рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибаю,— повторил Илья с сухою злобой.— Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

— Разе не жалко? Брата ро́дного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним изделали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молодая, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

— Ох, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи моей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

— Присылай-ка, ладно,— сказал староста, встал и полез на печку.— Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них,— отозвался Дутлов.— Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано.

— Все сказано,— повторил дворник.— Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собой в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что, должно, в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушечке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

— Известно, греха много,— сказал Дутлов, встал и начал молиться богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запряг его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробегал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? — думал он,— еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навынос выскакал в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое дви-

жение распороло шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стукаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове: он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигерь», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «Ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может, и пять, а может, и десять целковых, и велит еще чаю поднесть ему, а може, и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнулся еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрей, еще быстрей, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же, вспомнив, что его могут увидать, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем,— должен был думать Барабан.— Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя, и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одер чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом,

X

Целый этот день никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал или что с лошадью что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она.— Прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя,— но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность хоть поочередно выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома, в одних платьях, делать круги с усиленною быстротой, чем немало стесняли всех жителей *флигеря*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приезжал ли Поликей и где он может быть?» — улыбнулся, отвечая: «Не могу знать»,— и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать»,— сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал,— говорил этот человек,— что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина

не спала всю ночь, все прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлебы вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принесть и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея все не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издалека было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печеньем лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом розовом ситцевом, но мятом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но топкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тятенька плиехали»,— завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!» — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобрать.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она.— Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

— А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины.

— Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! — сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спал,— отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновенье, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою,— сказала она.— Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою.

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет.— Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

— Иди, Машка, вымою.

Сердитая, сюсюкающая девочка заревела.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховою девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликей не приходит,— сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову,— где Поликей? Отчего он не идет?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно,— отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где,— сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распахнутою грудью, поддерживая юбки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее ко́том, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — проревела столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени.

— На балке... висит,— проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу, человек стоит, посмотрела: шапка подле вывернута лежит. Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом

и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна! Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня бог спас. Истинно, господь помиловал. Легко ли! И кручь и вышина какая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубахе и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу, но ее не пустили.

— Мамуска, Семка захлебнулся,— вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в *угол* с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали оттирать; но все было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена все еще находила людей, не слыхавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом и как бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик в женской кацавейке рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами все смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропитанными дере-

вянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусала народ. Но истина понемногу распространялась и, наконец, достигла ушей барыни. И, кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начинала успокоиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «Барыня, барыня!» — и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых все равно, что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина! — сказала барыня.— У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу,— забормотала она скороговоркой.— Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, суда-

рыня. Какие бы парши ни были, сейчас соскочут.— И опять она захохотала еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершела с горчицей. «Воды холодной дайте»,— и она стала сама искать воды; но, увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было все это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было»,— подумали многие и стали расходиться. Акулина все хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчичниками, льду приложили к голове; но она все так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам, и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем все еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завыли собаки, и тут же, на беду, поднялся ветер и завыл в трубы, и такой страх нашел на всех жителей дворни, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один в *угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полюднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь

истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом *угле* никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над младенцем, а так, по случаю всего этого несчастия. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «Да воскреснет бог»,— опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях на сене и потом уверяли, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь препокойно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплюнула и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удавленник все висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигерь* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки,— добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся набок, с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столярова жена, прижавшись в углу своей кро-

вати, с растрепанными волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Дуняша.

— Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду,— решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе поди.

— Я одна сбегаю, я ничего не боюсь,— сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну поди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси, не расплескай,— сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замахала одною вдвое сильнее, поперек линии своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что, ежели бы она увидала или услыхала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

XIII

«Барыня спит али нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше *флигеря;* она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не поспевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне,

уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка, более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он поискал глазами иконы и, не найдя маленького образка, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватилась за грудь... Насилу она выговорила:

— Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, высовываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили,— сказала Дуняша, выходя из двери,— что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова,— сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично-громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались,— и она опять прятала голову и, будто в конвульсиях, елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, оченно важное дело,— сказал он,— только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и расспросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезть из города. Разузнав все подробно и вытолкав в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к

удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать,— сказала барыня,— какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поворачивая конверт.— Деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто все что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать,— сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу,— остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика.— Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того...— опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом,— так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.

— Ах, боже мой, Дуняша! — сказала барыня укорительным голосом,— не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать,— опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.

— Страшные деньги, сколько зла они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделали! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет,— сказала вдруг барыня, отыскивая руку Ду-

няши.— Да, да, да,— повторила барыня удивленной Дуняше,— пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет.

— Полторы тысячи рублей,— заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет всё,— нетерпеливо повторила барыня.— Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай,— сказала Дуняша, подавая ему конверт,— тебе велено отдать.

Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! — сказала Дуняша сердито.— Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал бог счастья! Матушки родные!

Вторая горничная не поверила:

— Что вы, Авдотья Николавна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да и ступай,— сказала Дуняша, не скрывая досады.— Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублев,— сказала тетка.

— Больше,— подтвердила Дуняша.— Ну, свечку поставишь десятикопеечную Миколе,— говорила Дуняша насмешливо.— Что, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он все взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад,— сказала Дуняша, показывая, что она все-таки презирает и мужика и деньги.— Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку.

— Рад?

— И не знаю, что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел.

Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошеле, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал,— сказал он.— Я не рад, как перед богом! Как лошадь замучил...

— Ну, твое счастье,— сказала она с презрительно-доброю улыбкой.— Возьми, возьми себе.

Он только таращил глаза.

— Я рада, что тебе досталось. Дай бог, чтобы впрок пошло! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Все за

вас богу молить буду. Я уж так рад, что слава богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?

— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня,— сказала Дуняша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка!..— говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то все казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный, колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен,— радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?

— Свезли. Ты что?

— Да тут Ильича удавленного караулить поставили.

— А он где?

— Вот, на чердаке, говорят, висит,— отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал,— сказал Ефимка,— сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велят идти

наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, видимо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

— Эй, караульщик, поди сюда,— кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет,— сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покоробило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах, и был только что жестоко распечен исправником за пьянство, и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удавленника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.

«Ну, пропали деньги»,— подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволапому! — сказал он.

— Ему на руку,— сказал Егор Михайлович,— он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь,— сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь,— шепотом сказал Егор Михайлович.— Ефимка,— прибавил он,— ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовет! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята,— сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой,— сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволок ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович.— Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

XV

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но, по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, непраздничной рубахе, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксинья встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолившись богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами, наконец стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на полати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с мальчиком-внучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислу-

шиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпенью, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксинью и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь,— видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые *он* употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал *его* тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста повещать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях.— Или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завыла на задворке, а *он* шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять *он* стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был *он*. Он хотел сотворить крест, но не мог. *Он* подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик знал, что *он* был в Ильичовом образе. *Он* оскалялся, руки болтались. *Он* взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги,— выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду,— хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всею тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что, ежели он прочтет молитву, *он* отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка

освободил уста старика. «Да воскреснет бог»,— проговорил Дутлов. *Он* отпустил немного. «И расточатся врази...» — шамкал Дутлов. *Он* сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул *он* обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал всё подряд. *Он* пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она спрыгнула на мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят,— сказал он,— в город поеду»,— и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже сбирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и, со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой, пошел к Егору Михайловичу.

— Ты у меня копайся! — крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси,— Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик только что встал, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж

сделайте милость. Вы намедни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, все жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость научи,— говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодайка уже уехала с Игнатом и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало все брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех похождений Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно посчастливилось. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупщик, мещанин, ходивший уже третью неделю, все просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Триста с четвертною возьмешь?» — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четыреста. «Не возьмешь с четвертной?» — повторил Дутлов, схватывая левой рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, бог с тобой!» — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно, так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на́ задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но все еще как будто бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

— Не греши,— повторял Дутлов, суя ему деньги,— умирать будем,— повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать,— еще раз ударил по руке и стал молиться богу.— Дай бог час,— сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, простившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодайкой сидели в углу купцовой кухни, и как только вошел старик, они перестали говорить и уставились на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

— Ты не греши, Илюха,— сказал он, подходя к племяннику.— Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она, бумага-то,— сказал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, неразгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить.

— Ты мне вчера одно слово сказал,— повторил еще раз старик,— ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне заместо сына ро́дного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные?— обратился он к стоявшим вокруг мужикам.— Вот и матушка твоя родная тут, и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде, как дотронувшись головою до земи, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодайка выли от радости; в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по-божьему, так-то»,— говорил один. «Что деньги? За деньги малого не купишь»,— говорил другой. «Радость-то какая,— говорил третий,— справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки котелок и калачи. Во второй телеге, которою никто не правил, степенно и счастливо сидели молодайка с свекровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись, задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег по мостовой, и пофыркиванье лошадей — все сливалось в один веселый звук. Лошади,

помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой, без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрей становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балалаечнику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвивался кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом пускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уже все это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянулся, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова.— Вон крестный-то!

— Где? Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге.

— Мишка! Стакан! — закричал он.— Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то, право!..— вскричал он, заваливаясь пьяною головой в телегу, и начал уго-

щать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказывались.— Родные вы мои, чем мне вас одарить? — восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидал ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт! — завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая? — спросил он.— Ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал все и сунул в колени старухе.

— На тебе, жертвую,— сказал он голосом, который становился все тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родный! Вишь, прóстый малый какой,— говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал все ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он.— За то вас и дарую.

— Я чай, тоже матушка есть,— сказал кто-то из толпы.— Прóстый малый какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть,— сказал он.— Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая,— прибавил он, хватая Илюшкину старуху за руку.— Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай бог тебе!..— проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

— Поезжайте вы к дьяволу,— закричал он, угрожая стиснутыми кулаками.— Чтоб твоей матери...

— Ох, господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей-рекрут стоял посредине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи.

— Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал он.— Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толпы рекрут. Проехав верст пять шагом, Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Вдвоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадь в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поравнявшись с двумя веселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней трясшихся в телеге.

1861—1862

СОДЕРЖАНИЕ

Толстой Л. Н.

Т 53 Казаки. Повести и рассказы. / Вступ. статья Л. Опульской.— М.: Худож. лит., 1981. 350 с. (Классики и современники. Русская классическая лит-ра.)

В настоящее издание вошли повести и рассказы Л. Н. Толстого (1828—1910) за период с 1852 по 1862 г.: «Набег», «Рубка леса», «Казаки» и др.

Т $\frac{70301\text{-}037}{028\ (01)\text{-}81}$ 13-81 4702010100 Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

Лев Николаевич
ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ
Повести и рассказы

Редактор
И. Щербакова
Художественный редактор
В. Серебряков
Технический редактор
М. Мельникова
Корректоры
Л. Овчинникова, Е. Колчина

ИБ № 1943

Подписано в печать 20.08.80 г. кодиров. ориг.-макет. Сдан в тип. 10.11.80. Бумага газетн. Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 18,48 усл. печ. л. 19,031 уч.-изд. л. Тираж 2 950 000 экз. (8-й з-д 1 550 001—2 050 000) Заказ 2234. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28

В 1981 Г. В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»
выходят в свет:

И. Бунин «Деревня. Повести и рассказы»

М. Лермонтов «Маскарад. Герой нашего времени»

Н. Лесков «Левша. Повести и рассказы»

А. Герцен «Повести и рассказы»

А. Писемский «Рассказы»

Г. Успенский «Нравы Растеряевой улицы. Рассказы»



1 р. 50 к.

Русская классическая литература



Л.Н.Толстой КАЗАКИ Повести и рассказы